

К. ДРАГУНСКАЯ, А. СНЕГИРЁВ, А. АРКАТОВА,
А. ГЕЛАСИМОВ, Е. УСАЧЁВА, Е. НЕСТЕРИНА,
А. ЛУНИНА, С. КОЧЕРИНА, Ю. КЛИМОВА
УЛЬЯ НОВА и ДРУГИЕ

СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА



Радость сердца. Рассказы современных писателей

Андрей Геласимов

Странная женщина (сборник)

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Геласимов А. В.

Странная женщина (сборник) / А. В. Геласимов —
«Эксмо», 2017 — (Радость сердца. Рассказы современных
писателей)

ISBN 978-5-699-94504-7

Эти женщины не сумасшедшие, они просто странные! С ними невозможно договориться, на них нельзя положиться, они чужды, дурят, всё путают и везде опаздывают. Чего от них больше – вреда или пользы? Как к ним относиться – любить или ненавидеть? А ведь без женщин с легким приветом наш мир был бы не таким интересным! Каждый хоть раз в жизни столкнулся с какой-нибудь странной дамой. Мы собрали целую галерею рассказов современных писателей об этих трогательных экзотических созданиях...

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-94504-7

© Геласимов А. В., 2017
© Эксмо, 2017

Содержание

Мария Воронова	5
Елена Усачёва	12
Улья Нова	17
Анна Аркатова	32
Елена Нестерина	41
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Странная женщина (сборник)

Мария Воронова
Николай Иванович

Когда выяснилось, что занятия в нашей группе будет вести Николай Иванович, мы расстроились и испугались: слава об этой преподавательнице шла очень нехорошая. Прозвищем из мужского имени-отчества она была обязана не своему оголтелому феминизму, а всего лишь привычке к месту и не к месту упоминать русского титана хирургии Пирогова, причём каждый раз произнося имя полностью: «как сказал Николай Иванович Пирогов», «Николай Иванович Пирогов впервые в мире» и прочее в том же духе. Впрочем, это была не единственная её странность, и, будучи «белой вороной» в метафорическом смысле, она и чисто внешне тоже очень напоминала эту редкую птицу. Маленькая, сутулая и белобрысая, она даже ходила, по-птичьи подпрыгивая, а длинный нос так и просился, чтобы его назвали клювом. В птичьих круглых глазах читалась странная смесь удивления и мудрости. Необычное лицо, но далёкое от идеала женской красоты. «Страшная, как моя жизнь», – припечатали безжалостные сокурсницы, чьей жизни ещё только предстояло как следует их напугать.

Видимо, сознавая всю безнадёжность ситуации, Николай Иванович не тратил времени и сил, чтобы как-то её спасти. Она не пользовалась косметикой, ходила в джинсах, растянутых свитерах и кедах, а волосы убирала в хвост. А может быть, ей, страстно увлечённой профессией, просто было не до всяких женских глупостей.

Нельзя сказать, что она была очень жестокой и безжалостной преподавательницей. Не всегда отмечала отсутствующих и не проводила допросов с пристрастием, чтобы выбить у студентов признание «не учил». Нет, на это Николаю Ивановичу жаль было тратить время.

Приходя на занятия, мы переодевались и сразу шли в операционную. Кому-то из группы выпадал шанс поддержать крючки, остальные наблюдали за работой Николая Ивановича.

Смешно вспомнить, какие мы тогда были глупые и самодовольные! Я только через много лет сообразила, что тогда мы присутствовали при уникальных операциях, которые наша преподавательница, несмотря на свою молодость, делала первой в стране и которые, будучи внедрены благодаря ей в практику, спасут потом жизнь тысячам людей.

Но мы ничего этого не хотели знать, а завидовали параллельной группе, которых не водили в операционную и в половине двенадцатого уже отпускали.

После операции мы возвращались в аудиторию, и начиналось занятие. Николай Иванович рассказывала с увлечением, и чаще всего приходилось напоминать ей, что время вышло и пора заканчивать, если мы хотим успеть на лекцию, тогда она быстро нас отпускала. Лишь много позже я поняла её страстное желание поделиться с нами своим опытом, дать информацию, которая в один прекрасный день поможет нам принять правильное решение.

Все мы судим о людях по себе. Преподаватели, отпускавшие своих студентов пораньше, были в душе такими же ленивыми и нелюбопытными, а нашей просто в голову не приходило, что нам надоело и мы хотим уйти, оставить изучение интереснейшей в мире науки ради бессмысленного сидения в кафе.

Не знаю, почему она выделила меня среди других студентов. Я неплохо соображала, была дисциплинированной студенткой, но и только. Такого вот горения, страсти к науке у меня не было никогда.

И всё же Николай Иванович как-то разглядела, что я прирождённый анестезиолог-реаниматолог, и прежде чем я успела что-то возразить, засунула меня в научный кружок по этой специальности.

«Главное – не пролюби свой талант!» – напутствовала она меня, а я невесело засмеялась. Мне было двадцать лет, и единственное, что мне действительно хотелось сделать со своим талантом, – это именно пролюбить его.

«Я не такая страшная, как она, – думала я печально, – и у меня есть ещё шанс создать семью, а не посвятить себя работе, как приходится делать ей». В годы моей юности на женское счастье смотрели немного иначе, чем сейчас.

Цикл по хирургии закончился, оставив нам усталость, приятные воспоминания и довольно приличный запас знаний.

Я занималась в научном обществе без особого энтузиазма, тратя на это в десять раз меньше сил, чем могла бы, всю энергию посвящая любовным переживаниям.

Вышла замуж, родила и растворилась в житейских заботах, втайне надеясь, что диплом врача больше никогда не понадобится мне. Когда сыну исполнилось два года, я задумалась о втором ребёнке, но прежде, чем поняла, хочу я этого сейчас или лучше немного подождать, муж сообщил, что уходит от меня.

Не буду останавливаться на том, как была сокрушена и растоптана, скажу только, что жизнь моя надолго превратилась в обряд самобичевания, в попытки найти в прошлом «тот самый момент» и перевести стрелку, в мучительный анализ собственных промахов и недостатков.

Спасло меня только то, что ребёнка надо кормить. Всё же гуманные у нас законы, слава Кларе Цеткин и прочим дамочкам. Безжалостное законодательство всяких чуждых нам стран предписывает инициатору развода обеспечивать свою больше не нужную вторую половину, чтобы она не пострадала хотя бы финансово. В результате брошенная жена может с комфортом предаваться унынию и депрессии. Слава богу, у нас не то. Захотел – женился, захотел – ушёл, а как там будет бывшая с ребёнком, её дело. Она такой же человек, как и ты, руки-ноги есть, прокормится как-нибудь.

Вот и приходится крутиться, и на страдание остаётся совсем немного времени и сил.

Выйдя замуж и забеременев, я упустила возможность остаться на кафедре, но впечатление по себе вроде бы оставила хорошее, и теперь меня приняли в штат врачом-анестезиологом с перспективой заочной аспирантуры. Перспектива эта мне сто лет не была нужна. Жизнь кончена и разбита, осталось только поднять сына, и можно спокойно помирать.

Поэтому я равнодушно выслушивала похвалы своей светлой голове и аналитическому уму. Во-первых, я готова была в любую секунду променять все свои мозги на простое женское счастье, а во-вторых, было немножко странно, как маститые профессора умудрились всё это во мне разглядеть, ибо я особенно не утруждалась, делая не больше десяти процентов от того, что реально могла бы.

Выйдя на службу, я снова встретила Николая Ивановича. За эти годы она сделала неплохую карьеру, стала завкафедрой хирургии, что для молодой женщины было тогда фантастично.

Такая же тощая и сутулая, она носилась по всей больнице своей вороньей походкой и успевала за день переделать тысячу дел. Несмотря на то что она была для сотрудников доступна и очень демократична, Николай Иванович ни с кем не дружил и держалась особняком ровно настолько, чтобы не прослыть заносчивой.

Ни разу не было такого, чтобы она участвовала в женских разговорах, а приходя пить чай, брала с собой два куска хлеба. Ни разу я не видела, чтобы она ела что-то другое.

Новая должность мало изменила её привычки, она по-прежнему выглядела так, будто сбежала с фестиваля бардовской песни, впрочем, на официальные мероприятия надевала

чёрный костюм, сидевший на ней ужасно и вызывавший ассоциации с деревенской почтальоншей.

Я не думала, что она вспомнит бывшую студентку, но Николай Иванович меня признал. Мы не подружились, но через какое-то время я стала её постоянным анестезиологом. Что-то, наверное, было у нас общее, раз мы на операциях без слов понимали друг друга.

Стыдно сказать, но я тоже оставалась одинока в коллективе. Мужчины-доктора, наверное, подсознательно чувствовали моё отчаяние и боевую готовность создать семью и сторонились меня, а с женщинами мне самой было скучно.

Это был тяжёлый год, мне казалось, что молодость уходит, то, что я считала смыслом и центром жизни, безвозвратно рухнуло, а работа – весьма неполноценный заменитель счастливого брака. Выходя на работу, я надеялась «найти кого-нибудь», даже похудела на пять килограммов, чтобы повысить свою привлекательность, но мужчины будто сговорились считать меня пустым местом.

Как-то, глядя на Николая Ивановича, я вспомнила её фразу: «не пролюби свой талант», и мне вдруг показалось, что это было не пожелание, а проклятие.

Злость вскипела в моей душе, хотя момент для этого был неподходящий – мы как раз находились на сложной операции.

Я знала, что женская часть коллектива не любит Николая Ивановича за то, что она никогда не сплетничает с ними, не ест тортов и конфет и торчит на работе, сколько душа пожелает.

Ну и за то, что добила в жизни много больше, чем мы, как без этого. Ну и что, что мировая величина, и монографию напечатали в пяти странах, и приглашают на конференции, подумаешь! Зато страшная, ходит как лахудра и пропадает на службе все дни напролёт, значит, никакой личной жизни!

Достоверно мы ничего не знали о семейной ситуации Николая Ивановича, но понятно же, что женщина, обременённая мужем и детьми, не станет пропадать на работе и интересы её сосредоточатся не только в науке, но и в более интересных сферах, таких как воспитание детей, кулинария и сериалы.

Просто она рано поняла, что на неё никто не позарится, ни один нормальный мужик, вот и пришлось стать трудоголиком.

«А мне теперь даже трудоголиком не стать, – подумала я горько, – ребёнок не даст пропасть в работе».

То ли Николай Иванович поймала мой полный ненависти взгляд, то ли просто так совпало, но после операции она позвала меня выпить чаю. Никто не устаивался такого приглашения раньше, я даже не думала, что у неё есть чайник в кабинете, поэтому согласилась, хоть пора было бежать за ребёнком в сад.

Я думала, мы обсудим какой-нибудь профессиональный вопрос, ибо остальные аспекты жизни мало интересуют Николая Ивановича, но неожиданно увидела в её глазах настоящее сочувствие. Не ту женскую фальшивую жалость, настоящую на самодовольстве и радости, что молния ударила не в тебя, а настоящее участие.

– Мне показалось, вы очень устали, – мягко сказала Николай Иванович.

Злость моя тут же прошла. Я вообще очень чувствительна к заботе о себе, потому что не часто это бывает. Еле сдерживая слёзы, рассказала про развод, про свои бесконечные самобичевания и чувство вины.

– Знаете, есть два глагола, которые нельзя употреблять в семейной жизни, – улыбнулась она, – это удержать и увести. Ваш муж просто оказался слабый и скучный человек. Как говорил Николай Иванович Пирогов: «Жить на белом свете – значит постоянно бороться и постоянно побеждать». Ваш муж не захотел, что теперь поделать?

Я невольно улыбнулась в ответ, подумав, что даже в обсуждении таких лирических дел начальница не изменяет своей отрывистой манере.

– Вы только не...

– Пролюбите свой талант? – перебила я раздражённо.

– Нет, просто не отвергайте его. Не надо думать: «сгорел сарай, гори и хата». Не отбрасывайте то, что дал вам Бог. Боюсь оказаться занудной, но лучше, чем Николай Иванович, всё равно не скажу: «Без вдохновения нет воли, без воли нет борьбы, а без борьбы – ничтожество и произвол!»

Может быть, я послушалась её наставлений или просто исчерпался ресурс горя, но поступила в аспирантуру, и как-то на всё стало хватать времени.

Читать литературу по специальности оказалось гораздо интереснее, чем гладить мужу рубашки, и когда я это поняла, всё встало на свои места.

Я защитилась на год раньше срока, опубликовала несколько действительно новаторских статей и на одной конференции встретила такого же увлечённого доктора.

Через полгода мы поженились, и это оказалось совсем другое дело, чем мой первый брак.

Тогда я играла роль жены и была одна на сцене, потому что мой муж не играл роль мужа, а вольготно расположился в зрительном зале, наблюдая и оценивая, а когда зрелище ему прискучило, встал и ушёл. Теперь же...

Впрочем, рассказ не обо мне.

Я проработала уже года четыре, прежде чем сделать удивительное открытие. Как и большинство великих открытий, оно было обязано случайности. Мы с Николаем Ивановичем написали небольшую монографию и хотели получить отзыв одного академика, который в силу преклонных лет не пользовался компьютером. Вдруг возникла железная оказия, благодаря которой наш труд был бы сунут отсталому академику прямо под нос, а не пылился бы в кипах других бумаг, ожидая, когда корифей до него доберётся.

Терять шанс было нельзя, и мы договорились, что я зайду к Николаю Ивановичу домой, возьму рукопись, а вечером отвезу её к московскому поезду.

Сама она не могла этого сделать, потому что дежурила. Да, несмотря на высокое положение, Николай Иванович не отказывалась от ночных дежурств, говоря, что они её взбадривают.

С детским чувством любопытства я поднялась по лестнице старого питерского дома и позвонила.

Открыл симпатичный дядька с бородой, в джинсах и свитере. Наверное, это у них форма такая, подумала я, пытаюсь понять, кем приходится Николаю Ивановичу мой собеседник. Отец? Брат?

Начала объяснять, кто я, но хозяин быстро перебил:

– Да-да, Тусечка сказала, что вы придёте.

Повинуясь его приглашающему жесту, я вошла, не сразу сообразив, кто такая Тусечка, настолько привыкла в своих мыслях называть начальницу Николаем Ивановичем.

Огляделась, ища вокруг признаки разорения и упадка, ибо понятно, что человек, сутками пропадающий на работе, не может держать дом в порядке, но против ожидания вокруг оказалось довольно мило.

Без лишней роскоши, но уютно, и хотелось посидеть подольше, а не уйти скорее под любым предлогом, как бывает в некоторых домах.

Насколько Николай Иванович была замкнута, настолько же бородатый дядька оказался радушен.

К моменту, как вскипел чайник, я уже знала, что зовут его Фёдор, он иллюстратор детских книг и живёт с Тусечкой в любви и согласии уже двадцать лет.

Оказывается, Тусечка много обо мне рассказывала, и он на всякий случай приготовил книги для моего сына, не потому что хвастается своими работами, а просто книги хорошие. Конечно, тяжеловато получается, но он меня проводит до метро.

Вообще он очень рад познакомиться с кем-то из сотрудников жены, так-то она человек необщительный, для семейной жизни это скорее хорошо, но всё же иногда интересно узнать, с кем супруга проводит время.

К чаю Фёдор подал орешки и какую-то странную штуку, пояснив, что они с Тусечкой вегетарианцы.

Ого, подумала я, сколько всего выясняется, и прониклась ещё большим уважением к Николаю Ивановичу. Обычно приверженцы здорового питания все мозги проедают непросвещённым, восполняя, наверное, таким способом недостаток белков, а начальница никому ничего не навязывает.

Пакет с книгами оказался действительно очень увесист, но помучиться с ним стоило. Иллюстрации Фёдора оказались прекрасны.

Прощаясь возле метро, он спросил, не рисует ли мой сын, и предложил как-нибудь привести его на экскурсию в настоящую мастерскую художника.

Всё-таки я не утерпела и спросила, каково это – жить с трудоголиком.

Задумчиво почесав бороду, Фёдор ответил, что семья – островок свободы. Сохраняя семью, сохраняешь и свободу, а разрушая – впадаешь в беспросветное рабство.

Хорошо, что к тому времени я уже снова была замужем и поняла, что он имел в виду.

Мы несколько раз ходили в мастерскую Фёдора, в редкие дни, когда Николай Иванович была свободна. Супруги приглашали нас приходить чаще, запросто, тем более что у сына появился явный интерес к живописи, но я считала неудобным посещать чужого мужа в отсутствие жены, только надеялась, что, если между нами всеми сохранятся хорошие отношения, сын сможет приходить в мастерскую сам, когда подрастёт. А покамест Фёдор записал его в кружок к своему приятелю, развивавшему дарования у маленьких детей.

Своих детей у супругов не было, но, кажется, они не очень страдали по этому поводу. Фёдор очень нравился мне, поэтому порой возникали мысли, что такой милый и домовитый человек заслуживает лучшей доли, и жаль, что не пришлось ему встретить хорошую женщину, считающую брак и материнство приоритетным направлением своей жизни.

Со временем информация о том, что у завкафедрой есть муж, всё же просочилась в наш дружный трудовой коллектив. Готовя к печати монографию, Николай Иванович попросила Фёдора сделать несколько иллюстраций, он приходил к нам в поисках вдохновения и натуры, тут-то всё и открылось.

Некоторое время новость обсуждалась довольно бурно, в ключе: «что она себе думает, он станет сидеть и ждать, пока она на работе пропадает?», «мужика только заботой можно при себе удержать», «что это за женщина такая, которая о муже не думает вообще?», «он потерпит-потерпит, да и найдёт ту, которая ему родит, и только его и видели». Николай Иванович была руководителем не деспотичным, но требовательным, строго спрашивала с подчинённых, поэтому её не очень любили и с удовольствием объявили нерадивой женой. Я слушала эти шедевры бабьей мудрости и думала, что была на волоске от того, чтобы жить по этим постулатам. Какое счастье, что Николай Иванович в своё время со мной поговорила!

Тем временем научные успехи начальницы сопровождались стремительным карьерным ростом. Её назначили проректором по науке, а через год – ректором, но, несмотря на

это, она не бросила практической работы, и мы по-прежнему встречались в операционной до того момента, как я забеременела вторым ребёнком и ушла в декрет.

Через год мы всей семьёй перебрались в Красноярск, куда муж получил назначение.

Перед отъездом я навестила Николая Ивановича и застала семейство в радостном предвкушении нового витка карьеры. Ей предложили должность заместителя министра здравоохранения, а там, как знать... Фёдор сиял, и видно было, что он действительно счастлив, что талант и трудолюбие жены получили наконец достойную оценку.

Я обрадовалась не только за наставницу, но и за медицину в целом. На посту ректора она проявила себя прекрасным и мудрым руководителем, наше косное учреждение прямо расцвело, так вдруг и здравоохранение изменится к лучшему, когда она встанет у руля.

В Петербург я вернулась только через несколько лет. Муж был родом из Феодосии, а у меня никого не осталось, так что в отпуск мы ездили к нему, и, стыдно сказать, я почти не скучала по родному городу.

Но пришло время мне подтверждать сертификат, и, оставив детей на мужа, я отправилась в Питер.

Про Николая Ивановича я почти не вспоминала, иногда только мимоходом удивлялась, почему она ещё не заняла пост министра и вообще ничего о ней не слышно в СМИ, а потом думала, наверно, просто я не слежу за новостями.

Если бы она дала о себе знать, я бы откликнулась, но навязываться первой казалось мне неприличным. Но, нагулявшись вдоволь по родным местам, я заглянула на старую работу и навела справки о Николае Ивановиче.

Мне тут же злорадно рассказали, что она больше никакой не ректор, и не министр, и вообще никто, а работает хирургом в поликлинике и страшно довольна, что хоть так удалось устроиться.

«Проворовалась и заигралась!», «нечего было лезть, куда не знаешь», все эти песни были мне знакомы, поэтому, не дослушав, я отправилась по знакомому адресу.

Увидев меня на пороге, Николай Иванович ничуть не удивился. С тревогой вглядываясь в её лицо, я думала разглядеть в нём следы пережитого разочарования, но круглые глаза смотрели всё с тем же непередаваемым выражением удивления и мудрости, только, кажется, стали мягче.

В доме что-то неуловимо изменилось, не к лучшему и не к худшему, а просто стало немножко иначе.

– Фёдя спит, – сказала она тихо, – поэтому на кухне посидим, ладно?

Мне было немного неловко начинать разговор, но Николай Иванович сама сказала, что вынуждена была уйти с работы из-за Фёдора. Вскоре после моего отъезда он попал под машину и остался инвалидом.

– Но как же так? – растерялась я, зная, что работа всегда была для Николая Ивановича важнее всего, важнее самой жизни.

– Знаешь, в поликлинике тоже интересно. Главное, график удобный.

– Но вы же так потеряли в деньгах! – выпалила я. – Могли бы нанять сиделку...

– Наверное, Фёдору приятнее, чтобы за ним ухаживала я, а не сиделка, – сказала она строго, – пока мы были здоровы, могли делать что хотели, а теперь иначе. Всё меняется, лето проходит, наступает осень, потом зима, и надо одеваться в соответствии с погодой. Пока я могла быть раздолбайской женой, я ею была, спасибо Фёдке. Теперь же, как говорил Николай Иванович Пирогов, «движимая милосердием своей женской натурой...»

Она негромко засмеялась, и вдруг я заметила, как от улыбки хорошеет её лицо.

Я недолго пробыла у неё в гостях. Кажется, Николаю Ивановичу не терпелось приняться за домашние хлопоты, и она не знала, будет ли Фёдор рад меня видеть, когда проснётся, поэтому я соврала, что у меня назначена встреча.

Николай Иванович сказала, что ей приятно было меня видеть и она рада знать, что я всё же не пролюбила свой талант, а стала заведующей реанимацией в краевой больнице и не забываю писать статьи. Но номер телефона она у меня не попросила и не поинтересовалась, долго ли я пробуду в Петербурге.

Подруги ей так и не стали нужны.

На обратном пути я думала о странных капризах судьбы, которая иногда не даёт нам ничего решить, а потом ставит перед труднейшим выбором. Никто бы не осудил мою начальницу, если бы она наняла сиделку и продолжила свою карьеру. Наоборот, все только похвалили бы её, что, превратившись в единственного кормильца семьи, она заботится о процветании, зарабатывает деньги. Самая скверная жена современности вдруг вспомнила о своих обязанностях, надо же! Ладно, если бы она была обычной карьеристкой, но её вело призвание, а вовсе не желание добиться успеха любой ценой. И всё принести в жертву...

Но тут я поняла, что между Фёдором и нею нет такого понятия, как жертва и долг.

Было очень жаль, что Николай Иванович не станет никогда министром, но приходится мириться со многими вещами, на которые никак не можешь повлиять.

Тут мне вспомнилась ещё одна цитата Пирогова: «Без нравственного смысла все правила нравственности ненадёжны».

Перед отъездом я ещё раз навещу бывшую начальницу, возможно, это будет наша последняя встреча. Как же сказать, что я никогда не стала бы счастливой без её помощи?

Елена Усачёва

Анкета участницы передачи «Давай поженимся!»

Я странная? Что вы! Я самая обыкновенная. Это все остальные – да, странные. Я и нормальных-то не видела. Даже не знаю, как правильно описать. Все с чужинкой, все с оторванной крышей. Я даже могу сказать момент, когда эту крышу рвёт. Класе в шестом. Или седьмом. Ага, верный срок. Как историю Средневековья начинают проходить, так их и колбасит. Там про всяких баронов, да князей, да про великую любовь, да про рыцарей, что с мыслью о прекрасной даме в далёкий поход ушли. А все эти трогательные убийства? Пожал руку врагу, уколол ядовитой булавкой из кольца, и всё, дело сделано. Жили-были король и королева, у короля, как водится, любовница. Да не одна. И вот стала одна особо выделяться. Королева ей дарит платье. Та надевает его, и через час шустрюю любовницу несут хоронить, потому что платье было пропитано ядом. Или вот ещё тоже про любовь до гроба. Он, значит, весь такой из себя, косая сажень в плечах, ну, и она тоже не из печки вылезла – красавица. Но ему понадобилось на минутку отлучиться. Она кивнула и села ждать. Помните, чем закончилось? Ага. Он вернулся, но через пятьдесят лет. Она ослепнуть, бедная, успела.

И вот с этого времени девчонки покой теряют. А всё почему? Потому что мечтают о большой любви, а соглашаются на то, что есть. «Я его слепила из того, что было...» Видимо, все эти сказки и романтические истории в такое время попадают, что на подкорку записываются, в кровь впрыскиваются. И уже ни калёным железом, ни битьём это всё из баб не вышибить. Нет, есть, конечно, такие, что проболели весь шестой-седьмой класс, или отвлеклись на уроках, или думали о математике. Есть счастливицы.

Но я таких не встречала.

Вот у меня одна подружка была – влюбилась в парня. Ну, нормально, парень и парень, в поход вместе пошли, в горы. То ли в «четвёрку», то ли в «пятёрку», тащили рюкзаки, карабкались по ледникам, мёрзли в палатках. Подруга моя как всегда – то ли рюкзак у неё самый тяжёлый, то ли ботинки ногу натёрли, то ли приступ малярии начался – лежит в палатке, помирает. А тут он! Весь такой в ореоле снега, обмороженный, но счастливый, принёс ей в палатку бутерброд. И этот бутерброд подружку мою спас, на ноги поставил, малярию прогнал, приступ икоты вылечил, рюкзак сделал легче. Шли они дальше, уже держась за руки, и все вершины были им как равнины.

Но это было бы ладно, если бы к новоиспечённому прекрасному принцу не была прикреплена некая возлюбленная. Ну, не совсем возлюбленная, а погуливали они. А тут ей такая неприятная новость. И применила возлюбленная запрещённый прием. Как узнала, что принц уже не её принц, а соседский, ударились в тоску и хандру, пообещала на себя руки наложить, если принц на ней не женится. Все, конечно, сильно удивились, потому что принцы на два не делятся и любит он уже давно мою подружку. Но тут бывшая возлюбленная вытащила козырь. Такой козырь, что всем джокерам джокер. Заявила страдальца, что моя подружка уже два раза была замужем, а сама она, горемычная, ни разу. А так как все мы тут строим светлое будущее с мировой гармонией, то для этой самой гармонии принц просто обязан жениться на ней, страдальце. Не по-настоящему, а так, на чуть-чуть. Моя подружка, конечно, напряглась. Не такая рыба – принц, чтобы его из рук в реку бросать. Этот и уплыть может. Но принц попался жалостливый, пошёл да расписался с нелюбимой. А куда деваться? Справедливость – она такая, она требует, она взывает. Ой, сколько мы с этой подружкой валерьянки выпили да бессонных ночей просидели, потому что быть замужней той страдальце понравилось. Хотя и без любви и без супружеских обязательств, а всё же статус. Кстати, о статусе. Была у меня ещё одна подружка, та тоже всё о статусе беспокоилась... Хотя о ней чуть позже. Там тоже

история – закачаешься. Так вот о принце, жалостливом нашем. Еле уломали его развестись. А ведь дотерпела моя подруга, оказалась в этом плане способной на длинные дистанции. Бывшая она теперь моя подруга-то. А почему? Да все из-за этого принца. Как заполучила она его себе в руки, даже в походы перестала ходить. А ну как он ещё кому бутерброд понесёт да в палатках заблудится. И вот не понравилось моей подруге, что мы с её принцем как люди общаемся – о том, о сём, о пятом, о десятом. И видимо, вспомнила она, что я тоже ни разу замужем не была. Я и не тороплюсь. Чего мне там делать? Пускай другие средневековые страсти разыгрывают. Вот и подруга моя звонит мне как-то да и говорит, чтобы я больше у неё не появлялась. А мне что – не хочет, не надо. Говорят, женился он таки на ней. И вы утверждаете, что мир не без странностей?

Приехала ко мне как-то другая подруга. Хорошая такая подруга, без башки, правда. Но ничего, разговаривать с ней можно. И вот пошла она по Москве по своим делам – а сама подруга не местная, из маленького городка, а потому слегка диковатая. И вот возвращается эта подруга домой часов уже к одиннадцати вечера. Я ей ужин приготовила, села слушать, где она была да с кем встречалась, а она одно заладила: «Ах, Костя! Как он хорош! Да как умён! Да как неотразим!» А я знаю этого Костю, зануда страшный. Ещё и не красавец. Стихи пишет, но все кривые какие-то. Я слушала. Подруга моя уже стала по дивану от восторга скакать и орать: «О! Костя! Он – бог!» Я не выдержала и написала этому Косте эсэмэс, что я его тут тихо ненавижу уже, потому что подруга моя потолок башкой пробила и все стёкла в округе своим криком расколошматила. Я же говорила, что знаю этого Костю, ничего особенного. Ну, написала я эсэмэс и забыла. Благо моя подруга утомилась скакать и вдруг вспомнила, что есть ещё Миша, так тот вообще красавец, а в придачу ко всему ещё и гений. Мишу я не знала. Так вот утром, не успели мы глаза открыть, как звонит этот бог Костя и ругает мою подругу на чём свет стоит за мою эсэмэс. Мол, мы ему младенца разбудили. А посему отлучает он мою подругу от общения с его непревзойдённой особой. Ты, во-первых, телефон выключай, если хочешь, чтобы младенцы спали, а во-вторых, при чём здесь подруга, если эсэмэс я писала? Ух, какая я была злая. Наорала на подругу, на этого Аполлона – Костю. А подруга моя ничего, жалобно улыбнулась и тихо сказала: «Но ведь он хороший...» Плюнула я на них. Что с этих чудачек возьмёшь?

У меня вот тоже была знакомая, в институте учились вместе. Ничего себе такая, красивая. И имя подходящее – Карина. И был у Карины парень. Ни у кого ещё не было, а у неё был. Фото не показывала, только рассказывала, какой он перспективный. Мы все ждали, что они поженятся, а она загадочно улыбалась. Мол, сначала капитал сколотим, потом и поженемся. И детей родим. И вот проходит год, другой, третий. Она продолжает загадочно улыбаться и всё про красавца своего рассказывает. А потом – хлоп – уж и не знаю, что произошло. То ли кирпич какой прилетел, то ли улицу не там переходил, то ли пироги порченые оказались, только умер он. Вот так взял – и умер. И никакой тебе свадьбы, никакого будущего. А чего ждали-то? Какого чуда? Вон оно всё чудо – на кладбище оказалось.

Зато другая моя подруга дождалась. Я уже говорила – была у меня подруга, очень переживала за статус. Ей к двадцати пяти годам кровь из носу нужно было выйти замуж. Если этого чуда не произойдёт, она жить не сможет, ведь все станут смотреть на неё как на социально опасный элемент. Мол, женатые примутся к ней подкатывать с интимными предложениями, и весь бизнес крупной компании полетит к чертям собачьим. И ведь сделала по-своему – только ей исполнился тот самый срок, через два месяца она вышла замуж. И ладно бы красавца какого нашла. Так нет, толстенький, неуклюженький, машину водил неловко, детей сделать так и не смог. Помню, на свадьбе поманила я подругу в сторону да и повела из загса. Украла невесту, одним словом. И что вы думаете? Этот жених трепыхнулся, побежал её искать? Нет. Так и остался стоять у загса, крепость ботинок своим перетоптыванием испытывать. Пришлось возвращать. Какой смысл красть невесту, которая никому не нужна?

Что у них сейчас? Не знаю. Расстались мы с подругой. На что уж она там обиделась, непонятно, но попросила больше её не беспокоить.

Или вот ещё был случай. Помните, та, моя первая подруга, что любила в походы ходить – любит ли сейчас, не знаю, – так вот она первый раз замуж выходила. Студенческая свадьба, вместо платья шорты, муж в кроссовках, на праздничном столе яблоки. Я прибежала пораньше, напекла пирогов. Этим и веселились. И вот у этого молодого мужа был свидетель, видный такой, в теле парень. И была там ещё одна девушка, тихенькая, скромненькая, смотрела на мою подругу с восторгом, всё про любовь говорила – была убеждена, что вот она, самая настоящая да истинная. Знала бы она, что с этой «истинной» через четыре месяца случится да как они проклинать друг друга будут. Короче, зацепился свидетель за эту девицу, стали они встречаться. А свидетель, не будь дурак, давай эту девушку уму-разуму учить. И ходит-то она не так, и говорит не то, и книжки читает задом наперёд, и жить не умеет. Манипулировал ею просто до безобразия. Она и так серенькой была, а с ним ещё и сутулиться стала. А тут возьми и нарисуйся у этого свидетеля папенька. Лихой такой папенька, задорный, всё ходил хихикал, сына поддевал. Разглядел он эту серую мышку, подкатил раз, подкатил два, да и увёл у сына. А она этого свидетеля смерть как любила. Билась она, билась между двумя мужиками, металась, а потом вообще исчезла. И где тот свидетель? Наверное, там же, где и первый муж моей подруги. За горизонтом.

Ой, ну, странные. Ведь странные, а? Вот знала я одну. Жила с мужиком. Жила, жизни радовалась, а потом перестала радоваться. Расстались. А парень видный был такой, косая сажень в плечах. Ещё и прославиться чем-то успел. Долго он один не был, его тут же подхватили. Чего такому красавцу простаивать? Но любовь – дело такое. Страдал он по бывшей. Так страдал, что решил помириться. И даже дату назначил. Хотел повезти на юг, удивить. А жена его, не будь дура, возьми да забеременей. И всё. Ни юга, ничего. Одни удивления.

И вот, кстати, про юг. Была у меня знакомая, всё мечтала выйти замуж в сентябре. Прямо вынь да положь ей этот месяц. Что-то она в нём видела. То ли унылые дожди, то ли склизкие листья, то ли простуды под чашку чая с малиной. Но мечтала. Настойчиво так. Ей ещё декабрь нравился, но про него она меньше говорила. Там и без её свадьбы праздников хватало – один Новый год с Рождеством католическим что стоят. А ещё у нас, кажется, день гимна или день флага на этот месяц приходится. Год мечтала подруга, другой. Чтобы потенциальные мужья не ошиблись с прицелом, сразу заявляла о мечте. Сентябрь. И хоть ты тресни. Одни до сентября не дотягивали, срывались раньше, другим месяц этот не очень казался, короче, год на пятый мечты решила она пойти другим путём. Раз никто к ней с интересным предложением не подкатывает, она всё сделает сама. Было у неё тогда на примете трое молодцов. И всем она назначила свидание на 13 сентября. Аккурат пятница была. Хороший день, чтобы начать новую жизнь. И все трое не пришли. Один укатил в Коктебель на фестиваль, второй просто пропал, а третьего мама не пустила. Честное слово! Ему уже под тридцатник, но мама его – дама серьёзная, крупный начальник, любительница покомандовать. Как узнала, сынуля собирается куда-то в пятницу тринадцатого, сразу кулаком по столу. Он и про календарь забыл. А сентябрь так вообще разлюбил на всю оставшуюся жизнь.

А говорят, что мечты сбываются. Либо народа стало больше и мечты в небесной канцелярии в очередь длинную выстроились, либо мечтать надо о монументальном. Как раньше – о мире во всём мире, о том, чтобы зимой зима, а летом – лето, о хорошем урожае злаковых.

Я и сама не понимаю, чего они все вокруг такие странные. Я-то самая обыкновенная. Вот и мужики у меня – странные. Я всем сразу говорю, чтобы следили за своими жёнами. А то жёны у них тоже странные. Был у меня такой Миша, ничего себе Миша, шустренький, на бежевой машинке ездил. Всё на Новодевичье кладбище меня возил. Но жена у него. Позвонила и с порога: «Зачем вам мой муж? Вам что, любви не хватает?» Я опешила. Во-первых, чего звонит? Это значит, Мишенька телефон дал. А во-вторых, на чём он запалился? Вроде

мы всё тихо делали. А в-третьих, мне-то как раз любви хватает. Это у неё убыток пошёл. Ну, поговорили мы, вроде мирно, разошлись. А через полгода встречаю я Мишеньку у общих знакомых. Идёт с коляской, жена висит на руке. Я обрадовалась, хотела подойти, а он глаза опустил и головой ещё качнул, мол, я тебя не знаю, ты меня не видела. Нет, ну вот как это, не странно?

Или вот ещё один был. Ах, какой красавец. Тоже шустренький, ласковый, но жена у него – стерва. И как прознала? Я ведь сразу предупредила, он и сторожился. Но жена – ей в полиции работать надо – почту вскрыла, эсэмэс прочитала, мало что в голову не залезла. И что вы думаете? Вместо того чтобы бельишко поинтересней купить да новые покрывала на кровать, она начала из окна выпрыгивать. Конечно же, не выпрыгнула, но угрожала. А куда это годится? Ну, пошёл мой красавец на попятный ход. И вот что странно, будь я мужиком да устрой мне жена такую сцену, я бы плюнула и ушла. А на него подействовало. Перепугался, обратно на полусогнутых пришёл. Она ведь его ещё и побить ухитрилась.

Или вот ещё одна жена – ну, тоже молодец. Уж как прознала, не пойму. Но приходит. Вернее, присылает электронное письмо, мол, я такая-сякая, хочу у неё мужа увести. А я и не собиралась. О чём и написала. Мол, так и так, храните своё сокровище сами, больше никому не понадобится. Она, не будь дура, показала письмо мужу. А он, творческая натура, обиделся. Нет, ну не странная женщина?

Я вообще не понимаю, как среди всех этих странных жить. Вот был у меня один, ничего так, ласковый. Но однажды заявляется ко мне и говорит: «Я женюсь!» Понятно, что не на мне. Я пожала плечами – с людьми бывает разное, а с мужчинами и подавно. Послала я его, стала жить дальше. Слышала, что женился, жёнину дочку в институт пристроил, под ипотеку квартиру купил. Проходит время, получаю я письмо – я прямо маньяк по получению писем, – пишет его жена. О том, что она его жена, в первых строчках написано. И вот пишет она, что мужем мой приятель оказался кривым, а в придачу ещё обманщиком и извращенцем. И чтобы я при его появлении на горизонте тут же вызывала полицию. Я пожала плечами. Бывало, что ко мне нынешние жены приходили. Но, судя по письму, это была уже бывшая жена, да ещё мне её муж совсем никак не был нужен. А всё равно написала. Я пожала плечами, письмо в корзину, мужа странного вон из головы. А тут пересекаемся случайно. Сам обрюзгший, взгляд потух. Подходит ко мне и говорит: «Зачем ты меня куда подальше послала? Я там и оказался!» Пилит теперь его жена эту несчастную квартиру с ипотекой, деньги трясёт, ну и письма всем его знакомым рассылает.

За всеми ними наблюдать вообще одно удовольствие. Вот был у меня один. Сначала всё мечтал о жене, о детях, но девушка его зачем-то сделала аборт, и они расстались. Потом он ухитрился связаться с беременной, но она родила да и вернулась к отцу ребёнка. Потом познакомился он с одной психологиней, уже подпрыгивающей от желания завести ребёнка хоть от кого-нибудь. Он ей ребёнка сделал, в квартире прописал, даже женился. Она у него попыталась квартиру отписать и шантажировать сыном, но потом укатила в свой далёкий Архангельск и больше не показывается. Однако моего друга это ничему не научило. Он снова связался с какой-то, чуть ли не продавщицей, из Брянска. Той жить было негде, он её к себе домой пустил, потом в кровать пустил, потом она его из кровати выгнала, так что он какое-то время спал на балконе. Я так хохотала над этим, что приятель мой обиделся и больше не звонил. Понятно почему. Чего уж там ещё эта подруга от него захотела, даже я не могу представить.

И вот смотришь на этот мир с его странностями и неправильностями и только диву даёшься. Куда он катится? Какую пропасть пытается себе найти?

А потому, пока не поздно, обратите внимание на самую нормальную среди вас! Спокойную, без вредных привычек. И уже даже без друзей. Потенциальным мужьям звонить,

писать и приходить. Жён оставляйте дома, не нужны они нам. Верна до гроба. Но главное – всё в рамках нормы и закона. И никаких чудинок или неправильностей! Обыкновенная.

Улья Нова Махаон – парусник

– Потерявшая имя –

За неделю до разрыва с Никитой она задумалась так глубоко, что нечаянно прошла сквозь витрину в торговом комплексе на Манежной площади. Это было новое тревожное ощущение – пройти сквозь стекло. В каждой клеточке тела осталась тягостная боль-предчувствие. Тогда она сдалась и признала: расставание неизбежно.

За два дня до разрыва с Никитой она полночи сидела на подоконнике, вслушиваясь в свист вьюги, прижимаясь щекой к ледяному стеклу. Вспоминала свою любовь с первого дня, с первого слова, как будто такой отчаянной дотошностью можно было что-то исправить. Именно в эту ночь она потеряла имя. Незаметно, нечаянно забыла его – окончательно, необратимо.

Почти неделю после разрыва с Никитой она кое-как держалась, существовала кисейной барышней на кофе и халве, порхала по Малой Дмитровке сквозь снегопад. Но к полуночи восьмого дня всё-таки сорвалась, задумалась глубоко и основательно, вследствие чего оголодала до чёртиков и уже за полночь навернула два бутерброда с холодцом и горчицей. На тёмной кухне, под присмотром мерцающих в ночи фонарей и редких светящихся окон, присматривавших за ней как лисьи и волчьи глаза, ела она бутерброд и давилась слезами, всхлипывая и рыдая от предсказуемости всего случившегося.

В первый день весны она торопливо зашнуровала ботинки и поскорей отправилась на улицу. Ожидала, что кислинка наступившего марта вложит ей в душу немного тепла. Угрюмо ковыляла по щиколотку в весеннем месиве. Пропиталась тоской сугробов в чёрных кружевах и размякших окурках. Никакого обновления не случилось. Осталось только удивляться, как же обозлили её эта долгая зимняя размолвка, потеря имени, гибель любви и неизбежное расставание. Ум стал жестоким, пропитался язвительным ядом и превратил её за эту зиму в незнакомое чудовище, которое теперь месило стоптанными ботинками грязь ранней весны. От отчаянья и чтобы хоть как-нибудь утешиться, она занялась инвентаризацией окружающих отталкивающих существ, подсчётом монстров. Стоило только решиться, будто бы на её зов чудовища выползали из укрытий и предъявляли себя во всём своём грандиозном безобразии. Чудовище № 1 позвонило в дверь квартиры. Безымянная выглянула в глазок, спросила кто. В ответ ей предложили присоединиться к празднованию «годовщины смерти Иисуса Христа». Чудовища № 2 и № 3 запустили петарду в мусоропровод. Всю следующую неделю в подъезде пахло палёным и жареным, будто здесь располагался экстренный филиал ада. Чудовище № 4 исполняло роль многословного депутата на Первом канале центрального телевидения. Чудовище № 5 писало по скайпу чудовищу № 6: «Я тоскую, дружище. Я вспоминаю, какими мы были раньше. Мы летели. Мы были цветами. Теперь мы сломались, обросли иглами, уродующим панцирем, защитным вооружением вроде косых улыбочек, многозначительных усмешек и сарказма. Мне больно быть монстром. Я тоскую по нам прежним». К концу марта её список чудовищ перевалил за сто.

В начале лета сестра, неожиданно забыв обиды, пригласила за город, погостить в покосившемся, слепленном из заплат доме прабабушки. Наверное, следовало сразу же отказаться. Или пространно пообещать, что заедет на выходных, ближе к августу. Но предсто-

ящим летом потерявшая имя надеялась забыть или как-нибудь обмануть всё случившееся. Она мечтала истощить или как-нибудь нечаянно утратить неподъёмный панцирь цинизма и насмешек, нажитый за зиму. Она мечтала превратиться из монстра обратно, в себя прежнюю. Она так хотела вспомнить своё имя и услышать, как кто-нибудь шепчет его: нежно, растроганно. Именно поэтому она сразу же согласилась.

Через несколько дней после переезда на дачу потерявшей имя впервые в жизни отказал мужчина. Это было так неожиданно и драматично, что она даже не смогла расплакаться. Она окаменела, чувствуя вот это – невыносимое, ртутное в самом центре груди. Как будто там внутри медленно расцветала пепельная роза – доказательство того, что смерть существует. Ведь потерявшая имя была уверена: всякий отказ, любая нескладная любовь – не что иное, как доказательство смерти, тайные зловещие знаки неминуемого исхода.

На этот раз смерть выдохнула ей прямо в лицо в полуночном саду. В тот вечер они с сестрой засиделись на террасе, старательно проговаривая все беды последнего года, словно надеясь таким образом выпроводить их вон из своей жизни. От сестры она нечаянно узнала, что освободилось место в коворкинге, на Цветном бульваре. Украдкой выбежав с телефоном в тёмный шумящий сад, потерявшая имя позвонила Никите, просто так, как будто лишь хотела поинтересоваться, не смогут ли они с осени работать там по очереди. На самом деле ей хотелось услышать его голос. Она надеялась на примирение, она ждала раскаянья. И на всякий случай была как никогда прозрачной, уступчивой, совсем домашней. А он неожиданно прохрипел из трубки неблагозвучное: «Хватит». И резко, грубо прорычал, что не надо больше звонить, что больше ничего никогда не будет между ними, ничего и никогда. Потому что они совсем не про друг друга. На следующее утро потерявшая имя проснулась на террасе, на жёстком диванчике, в скрипучем холоде июньского восхода, в злодейской нехорошей пустоте. Последующие несколько дней ртуть этого разговора отравляла её изнутри. Такое с ней приключилось впервые. И безымянная горевала, горевала бескрайне, так толком и не разобравшись, приснился ей этот разговор или произошёл на самом деле. Вполне возможно, Никита той ночью видел тот же самый сон. И во сне он умышленно отказал ей, окончательно расставив все точки, уничтожив любые обходные пути. С тех пор его номер всегда был недоступен. Это и было окончанием их любви.

Кое-как справившись со своей мимолётной смертью и неминуемым расставанием, потерявшая имя решила посвятить лето возвращению доброты. Она не знала, что надо делать, чтобы осуществить превращение из отравленного чудовища обратно. Она не представляла, как именно сбудется возврат утраченного. Зато она заранее придумала опознавательный знак: если доброта к ней всё же вернётся, если душа и ум снова наполнятся лёгким золотистым сиянием, этим летом она увидит махаона. В поле, распираемом от полуденного жара, когда каждая травинка просвечивает насквозь под пышущим солнцем июля, она увидит махаона, рассекающего крыльями разгорячённое небо. Он явится ей как парусник – мерцающий, играющий с ветром. Он будет искриться на фоне моря трав жёлтым и чёрным. Он будет мелькать на фоне облаков алым и синим. Он будет сама жизнь, все мечты, всё заповедное и невозможное.

В то лето, неторопливо гуляя с сестрой и трёхлетней племянницей Настенькой мимо чужих огородиков, теплиц и беседок, потерявшая имя смотрела во все глаза, ждала появления своего махаона и из-за этого горевала чуть меньше. В то лето она как никогда научилась видеть и замечать живое и мёртвое, тайное и явное, а подчас и вовсе не существующее: восемь белых коз, шествующих по тропинке понурым маршем, ястреба, скользящего над шоссе, умершую три года назад соседку-коровницу, белую колоколенку на том берегу ручья, трёх стариков из разных фильмов Кустурицы, собачий ошейник, обронённый посреди тро-

пинки, далёкие звуки аккордеона – на турбазе, за сосновым лесом. Но заветного махаона нигде не было.

В то лето потерявшая имя смотрела во все глаза, ждала появления своей бабочки, надеялась на возвращение утраченной доброты и привыкала ничему не удивляться. Однажды вечером её печали превратились в стаю воронов, которая несколько дней преследовала потерявшую имя то тут, то там, рассыпаясь по полям обрывками пепла, разлетаясь в вечернем небе чёрными кружевами. В четвёртый раз она заметила стаю на футбольном поле, в посёлке, куда ездила на велосипеде за хлебом и грушами для Настеньки.

По дороге назад, неторопливо крутя педали, чуть сжимаясь, когда мимо проносились шаткие грузовики, потерявшая имя размышляла о дрессировщиках чёрных птиц. Она давно знала: бывают такие особенные, кто умеет обращать свои страхи и гнев в чёрную тушь. Они не позволяют злости изменить себя, а умело превращают её в стежки вышивки, в узелки невесомого кружева. Ей бы тоже хотелось когда-нибудь стать дрессировщицей своих чёрных птиц: сжать грача разлуки в руках, со всей силы подбросить его в розовое закатное небо. Ей бы хотелось научиться превращать грусть и обиду в нерушимый порядок стежков. Но махаона и в тот день не было: ни над полем, ни возле заброшенных коровников, ни вдоль обочины разноликих дач и лоскутного одеяла огородиков.

В тот день человек в льняной кепке, сокрушённо топтавшийся возле заглохшего мотороллера, сипло попросил донести посылку. Туда, в поселок, по указанному адресу. Судя по всему, это не дачи, а где-то в старой деревне, возле Барского сада. Квадратная коробочка оказалась совсем невесомой. Поддразнивая, внутри как будто мерцал перламутровый шифон, одушевлённый, ждущий освобождения. Так показалось потерявшей имя, когда она нерешительно взяла посылку в руки. И всё же согласилась помочь почтальону. Из любопытства. А ещё ей не терпелось проверить интуицию. По дороге она строила самые разные догадки относительно содержимого. Так хотелось узнать, кто же окажется получателем – имени на квитанции не было. К тому же доставка посылки была маленьким происшествием однообразных дачных дней, которое можно будет рассказать сестре – вечером, в полумраке террасы, за круглым столом, между гаданием на картах, вином и сыром.

По дороге она твёрдо решила под любым предлогом напроситься в гости, удовлетворить разыгравшееся любопытство, узнать, что таится в посылке на самом деле. Она долго искала указанный адрес – на дачах, на улочках старой деревни, где дома пронумерованы как придётся. Был жаркий полдень, духота наводила на мысли о вечерней грозе. Почти никого не было на улочках, на лавочках, возле теплиц. Газонокосилки молчали. В тишине стрекотали кузнечики и дребезжал душный парной воздух. Потерявшая имя около часа бродила мимо нескончаемых заборов, калиток и ворот. Распаренная, она хотела пить, чувствовала головокружение. И умирала от любопытства. А потом неожиданно оказалась в этом странном доме.

– Лиля –

Возле шатра сухофруктов притормозила машина. Та самая. Чёрная, со змеиным блеском, неизвестной Лиле марки (она и в современных не очень-то разбиралась). В сумраке салона коричневое пламя – шевелюра мужчины за рулём. Лиля несколько раз видела его и раньше возле рынка. Остренькие усики, худощавое гибкое тело, брюки в мелкую английскую клеточку. У него как будто был привкус мускатного ореха, которым малолетний курильщик надеялся забить горчинку папирос, духоту полудня. Лиля, как всегда заворожённо, следила за передвижением в толпе жилета цвета клейкого тополиного листочка. И нечаянно порвала пакет.

Курага и урюк раскатились по асфальту, украсили лужицу возле ступенек рынка – оранжевые медальоны под ноги в сандалиях и босоножках. Лиля растерялась, но всё равно украд-

кой высматривала поверх голов коричневые вихры незнакомца. Подошёл плюшевый пони с мятым синим бантом в начесанной гриве. Неспешно обнюхивал, мягкими губами степенно подбирал курагу. Лиля присела на корточки, собрала горсть кураги и принялась угощать пони. Большой шершавый язык деликатно слизывал ягоды с её ладони. Потом, неожиданно, в полуметре от прижатой к асфальту Лилиной коленки возникли эти клоунские штиблеты и отутюженные брюки в чёрную и тёмно-зелёную клеточку. Кто-то остановился, кто-то рассматривал Лилю, сгорбленную на корточках, в синих лепестках платья.

Она медленно подняла голову, отметив тонкий ремешок брюк, онисовые пуговицы жилета, бледно-зелёную шёлковую косынку, заправленную под ворот рубашки. Быстро ухватив штрихи костюма, гадала, какого цвета глаза мужчины. Наверняка зелёные – ряска и бархат. На всякий случай, авансом, она улыбнулась – доброжелательно, отстранённо. Но под кустистыми бровями оказался объектив. Чёрный глаз бесстрастно уставился на Лилю. Белёсый паучий палец придавил кнопку, исцарапанную временем, суетой антикварного салона, прикосновениями множества рук, норовивших хоть мельком почувствовать слитную тяжесть немецкого фотоаппарата, которому не меньше века. Лилия, медальоны кураги, пони, в испуге сорвавшийся с места, – всё было поймано. Украдено. И стремительно упрятано в скрипучую проржавелую коробочку, как в ветхий чемоданчик перед отъездом на пароходе, в приморский город, счастья искать. Лилия сдержала негодование – ей-то казалось, что прежде, чем делать снимок, следует просить разрешения. Она сокрушённо провожала глазами плетущегося прочь пони, а незнакомец защёлкнул крышку на объективе и подал ей руку.

Он подобрал с асфальта сумку-корзинку, встряхнул и протянул Лиле со словами: «прозрачным барышням вроде вас нежелательно сидеть на дороге, под ногами всякого сброда». И кивнул головой на серо-синюю толпу взмысленных людей, что протискивалась внутрь крытого рынка, обмахиваясь кепками и газетами. На лицах от жары подтаял воск. Нетерпеливые толкались, налетали друг на друга, с возмущением покрикивали, чтобы Лилия убиралась с дороги.

Незнакомец с усиками обходительно взял её под локоть и увёл в тень сквера, под пыльную листву кленов и молодых яблонь. В руке недоверчивой Лили оказалась визитка на сером картоне. Наверняка постоянный посетитель антикварных салонов. Охотится на старинные фотоаппараты, выслеживает визитки прошлого века, жилеты и шейные платки, потом разыгрывает перед неловкими барышнями маленькие пьесы под открытым небом. Она покосилась на рубашку и штиблеты незнакомца – скорее всего, из лавки старьевщика или из костюмерной маленького театра.

По словам Бориса (визитка утверждала, что его именно так зовут), недалеко, в переулках, находится его мастерская. Лилия почему-то представила огромную комнату с цементными стенами, на которых кое-где уцелели обрывки выцветших серо-голубых обоев. Внутри дребезжит холодноватый сумрак. И царит беспорядок фотографий – мельтешат ломкие локоны фотоплёнок, хрустящие, пожелтелые от времени корочки чёрно-белых портретов, промозглые сепии пейзажей, игры тел и теней, расплывчатые, размытые, усыпанные тоненькой сеточкой трещин. Борис галантно проводит её в сизую мастерскую, где не существует времени. Пропустит Лилю вперёд, сам задержится на пороге. Она, забывшись, начнёт рассматривать монохромное изображение улыбчивой брюнетки в шляпе со страусовым пером. Немного освоившись, схватит стопку мутных чёрно-белых снимков, на которых река и бегущие по полю дети. Просматривая, будет сбрасывать их как отыгранные карты на журнальный столик. Вспыхнувшие и моментально погасшие окна в чужую жизнь. Потом вдруг различит за спиной лязг щеколды. И через несколько секунд познакомится с очевидностью: её заперли, фотографии были приманкой, теперь Лилия – пленница мастерской. На следующий день, покачиваясь на корточках у стены, она поймёт, что возврата не будет. Возврата туда, в её прежнюю жизнь. У неё и раньше случались вспышки прозрений будущего. Можно ска-

зять, смешливые страхи-предчувствия и на этот раз оправдались. Борис не был похитителем девушек. Но он действительно оказался не тем, кем хотел бы выглядеть со стороны.

— ...У меня долгожданный дебют в журнале Photo Time. Четыре разворота с портретами московских попрошайек и небольшая сопроводительная статья. Ради этого я сегодня выбрался в город с дачи. Забрал в редакции журнал, купил шампанское и сыр. Теперь возвращаюсь...

Упрашивать не пришлось, Лиля согласилась отпраздновать вместе с ним долгожданную публикацию и посмотреть его работы. Ей было любопытно. Её окутывал аромат мускатного ореха, забивающий горчинку и пустоту полудня. У неё никого не было в сердце в то лето, от этого всё давалось легко, будто хорошо усвоенный танец или прилежно заученный стих. И вот уже в волосы Лили врывается ветер, рвёт их в разные стороны, а пронсящие мимо грузовики лязгают и гремят, грозясь завалиться набок. Когда она зажмурилась, показалось, что огромная фабрика поёт своими ржавыми станками — так оглушительно шумело шоссе.

Лиля предполагала, что, просмотрев сначала бодрящие, потом бесконечные журналы и альбомы с его фотографиями, на некоторое время провалившись в неизвестность и вседозволенность, к вечеру она всё же сумеет вырваться с его дачи. Она заранее решила никому не рассказывать, где и с кем провела этот день. Лиля жаждала приключения, маленькой мимолетной безнаказанности, которую со временем можно будет с лёгкостью простить себе, а чуть позже — забыть. Притаившись на переднем сиденье, ощущая локтем холодноватую кожу дверной обивки, она вглядывалась в даль дороги и придерживала волосы, но вихрь ворошил их и набрасывал на лицо тёмно-русой вуалью. Она терялась при каждом очередном вопросе с неизменным «душа моя». Она вспыхивала и отводила глаза при резких, почти непристойных движениях Бориса, словно тело его существовало вне одежды и жило скрытой ритуально-раскрепощённой жизнью. Они быстро миновали окраины заводских подворотен и просторы пыльных девятиэтажек, раскиданных кое-как на призрачных полуживых пустырях. Минут пятнадцать протискивались в пробке по эстакаде. И уже неслись мимо бешеной пляски сосен и зазубренных еловых пик, оставляя позади уходящие куда-то в неведомую даль ветви шоссе.

Беспокойство булькало в горле и начинало слегка душить, но Лиля отвлекалась наблюдением за его профилем на фоне вельветовых полей. Беспокойство нарастало, будто кто-то вытягивал из неё дух — искристым лимонадом через коктейльную трубочку. По сторонам дороги гудели изумрудную песнь луга с шершавой бахромой леса вдаль. Машина неслась по истрёпанной тесьме загородного шоссе. Боковые окна были открыты. Ушки шейного платка Бориса превратились в языки бледно-зелёного пламени. Он курил сигарету в роговом мундштуке и смаковал собственный неторопливый рассказ о весенней охоте. Потом резко остановил машину. Легко и складно выпрыгнул, обежал автомобиль, распахнул дверцу с Лилиной стороны. Придерживая под локоток, помог ей выбраться. Тряхнул коричной гривой и указал сигаретой вдаль:

— В тех лесах водится прекрасный зверь, чистый, благородный.

Она прослушала или ветер унёс — какой именно зверь. Волк. Вепрь. Или единорог. Когда он был рядом, всё казалось возможным. Его рука направляла взгляд вдаль. Оставалось гадать, куда именно предполагалось смотреть — узловатые пальцы с округлыми холёными ногтями скользили по горизонту, пепел сигареты отсылал туда, где некогда было имение его прадеда. Пойди разберись, что служит указкой — лёгкий кивок головы на чёрную каёмку леса или мизинец, обращённый в сторону холма с кособокими сараями ближайшей деревни.

Лиля смущалась смешинки в его глазах. Рядом с ним она становилась угловатой и скованной. Перебирая пальцами ремешок сумки-корзинки, она замерла, тем не менее угадав ещё одну, грейпфрутовую нотку его одеколона. Следила за беспорядочными движе-

ями его руки – прадед ездил охотиться в дальний лес за оврагом, навещал приятелей в посёлке у церкви. Жизнь прадеда превратилась в небольшой сеанс гипноза: «посмотрим на тот пригорок, теперь медленно движемся глазами влево...» В зарослях растрёпанных вётел скрывается речушка, где прадед с племянником стреляли уток, разлучали пары лебедей... В какой-то миг Лиля попыталась охватить золотисто-зелёный простор, но поле ускользало, безжалостно уменьшая смотрящую. Борис всё-таки успел сфотографировать её на полароид. Порывисто разрезал холм взмахами руки – сушил квадратную карточку, а на ней – туманную синь, из которой медленно проступала уменьшенная в сотню раз, тоненькая, совсем карманная Лиля.

Они вернулись в машину и отправились дальше. Лиля закрыла глаза, задумалась, задремала. Её вдруг не стало вовсе, как души камня, как разума песка. Потом кто-то дышал ей в щёку и громко звал по имени. Машина стояла у тесовых ворот. Борис легонько тряс её за плечо. Случайно удалось ухватить, каким бывает его лицо, когда он остаётся один. Оно как будто становилось истощённым, совсем усталым. Так разлилось с тонкими нитями солнечных лучей, что пробивались сквозь шумящую листву парка. Громоздкие ворота дачи щёлкнули, медленно и легко отворились. За ними оказалась аллея, усыпанная мерцающими солнечными пятнами. Где-то сбоку, в глубине владений, блестел купол оранжереи. Машина плавно двигалась по дорожке, жуя гравий. Кружевной плоский зонтик от солнца плыл над кустами. Или мерещился. В фонтане застыли три белых медвежонка, усыпанные каплями воды. Дом, оплетённый диким виноградом, казался тёмным плодом земли и небес. Несколько лоскутиков-клумб дремали бутонами табака, терпеливо и покорно переживавшими день в виде белых сосуллек. Лиля распахнула дверцу, выскользнула из машины и понеслась по розовому гравию дорожки. В прикрытых глазах смешались лучи и тёмная зелень листвы. На террасе-крыльце пустовало кресло-качалка с гармошкой раскрытой книги, неторопливо листаемой сквозняком.

Она огляделась, с удовольствием скользнула взглядом по солнечно-зелёной листве молодых вишен, по стриженным кустам шиповника. Покой и ухоженная красота пробуждали и будоражили. Лиля распрямила спину, услышав лёгкий хруст в позвоночнике. Поглубже вдохнула. Вдруг захотелось чудить, красоваться, быть невесомой и безнаказанной. В этот самый момент к ногам метнулась узкая тень. В ответ в самом центре груди сжалось незнакомое беспокойство. Тихим эхом пронеслось в голове: «Не хочу, чтобы этот день изменил меня. Будет несколько приятных, неожиданных часов. Не более...» Не дослушала свой внутренний голос. Почему-то потребовалось противиться, изгонять его – оставь, замолкни.

Борис быстро приближался к дому, подтянутый и очень стройный. Словно прочитав её мысли, чуть насмешливо бросил на ходу:

– Будь осторожна, этому месту присущ особый магнетизм, тут все ведут себя как-то иначе.

Слегка коснулся её спины, скорее почтительно, чем фамильярно.

– Проходите, – переходя то на «ты», то на «вы», пропустил в дверь веранды-крыльца, которая оказалась незапертой. Она вдруг вспомнила недавние опасения или всё же старательно скрываемые от самой себя желания стать его пленницей. И с нетерпеливым любопытством шагнула внутрь.

В сумраке прихожей угадывалась вешалка с дождевиком, трость в углу, створка стенного шкафа. Тёмная прихожая вела в комнату, сумрачную из-за задёрнутых гобеленовых гардин, кос дикого винограда и ветвей раскидистой яблони, затеняющей окна. Лиля тут же уселась с ногами на пологий диван. Три кресла и кушетка тоже были удивительно низкие, с пологими спинками, как шезлонги, приглашающие не сесть, а скорее прилечь, поглаживая ступнями оленью шкуру, расстеленную вместо ковра. Доверчиво прикрыв веки, она начала медленно и покорно уплывать в стылом полумраке гостиной. Но всё же на всякий случай

стараясь следить за его быстрыми, резкими движениями. Почти гневно разбросал в стороны гардины, вытолкнул наружу створки окна, плеснув в лицо сквозняк, шум тёмной листвы и мягкий голубоватый свет.

Он был везде – у окна и уже у Лили за спиной. Он кружился возле электрического самовара. Над низким чайным столиком на все лады звенели колокольчики – чашки, ложечки, блюдца. Медленно и точно уронил иглу на пластинку граммофона. Заныла мелодия. Заскулил женский голосок, яростно картавя. Вскоре уже вовсю шипел и булькал самовар. Всхлипнула вода в чашки. Ароматы бадьяна и корицы поплыли по комнате вместе с уютным сиреневым паром.

Он сел в низкое кресло напротив Лили, закинул ногу на ногу, бережно взял двумя пальцами чашечку и принялся рассказывать о переводчице. Да-да, этой Таисе надо удержаться на работе до сегодняшнего дня. На диване, напротив него, Лиля чувствовала себя как никогда скованно, она обожглась чаем, она растерялась. Так ведут себя уже немного влюблённые девушки. Но Лиля старательно убеждала себя, что совсем не была влюблена. Ей было любопытно. Ей хотелось безнаказанности, мимолетности, о которых можно будет со временем забыть. Рядом с ним воздух как будто был немного разряженным, она задыхалась, стараясь скрыть беспокойство. Она не совсем слушала, не вдавалась в подробности, но на всякий случай улыбалась шалостям переводчицы, которая всегда опаздывает, является на совещания в немыслимых нарядах и перевирает слова. Из-за этого Борис вынужден жить в постоянной готовности к маленьким катастрофам. Видимо, так ему даже нравится, он только делает вид, что недоволен. Недавно Таиса объявилась на пресс-конференции по случаю открытия выставки в пеньюаре, отороченном лисьим мехом. Журналисты приняли её за известного на всю Европу и Америку фотографа, а Борис, виновник события, со скромной ухмылкой наблюдал этот маскарад со стороны.

Они пили уже по второй чашке, время не остановилось – настенные часы красного дерева с бронзовым маятником показывали без пяти три.

– Знаете, я давно приметил и несколько месяцев отслеживал вас возле шатра сладостей.

Лиля вскинула брови. Чайный столик незаметно опустел и был насухо вытерт. Борис вовсю шуршал в тёмной прихожей. Вытянувшись во весь рост, привстав на цыпочки, разыскивал что-то в стенном шкафу.

– Я волновался, куда вы подевались. Вы три дня не появлялись на рынке, не покупали фиников и инжира, я забеспокоился, – как бы между прочим, не оборачиваясь, бросил он.

Потом принёс в комнату пыльную серую коробку. Поймав вопросительный взгляд, пояснил:

– Шляпная, неужели никогда не видела в фильмах? В них хранили эти хрупкие украшения, чтобы не помять, чтобы не испачкать ленты, рюши, вуали. Ведь некоторые шляпки, они как бабочки – совсем прозрачные, безейные дополнения к женщине. Без которых, увы, всё так прозаично. А иногда – почти банально. А ведь банальность недопустима: на фотографиях, во всём, что происходит. Не надо банальности, ну её. Тебе, кстати, пойдёт одна моя шляпка. Если не возражаешь, мы сейчас примерим. Я её тебе потом подарю, если понравится.

Через пару минут из тусклого овального зеркала прихожей на Лилю недоверчиво и возторженно смотрела незнакомая девушка в сиреновой шляпке. Прозрачная, тоненькая, томная, она была похожа на призрак этого загородного дома, в котором царил сквозняк, пропитанный сухим шиповником, и перекашивался топкий голубиный сумрак. Борис замер у неё за спиной, восхищённо затих. Потом, будто опомнившись, принялся фотографировать незнакомку в шляпке своим старинным фотоаппаратом, умышленно наводя фокус на стеклянный

купол оранжереи за окном, чтобы изображение девушки получилось ускользающим, безликим, совсем размытым. С этого момента возвращения в прежнюю жизнь действительно не было. Лиля не уехала в тот вечер с его дачи. Она не уехала назавтра. Не уехала через неделю. Она поддалась, изнежилась, очень скоро потеряла волю и осталась насовсем и со временем окончательно стала девушкой-призраком. Одной из трёх странных девушек этого странного дома...

– Таиса –

Когда очередная сказка заканчивалась моралью: «Судьба ходит за нами по пятам», Таисе хотелось забраться с головой под одеяло и, шурша фантиками, уплетать шоколадные конфеты с многоточиями орешков, с изюмом, с мармеладной и марципановой начинкой. Неудивительно, что судьба вскоре отняла у неё именно эту, главную радость – в больнице усатый эндокринолог строго запретил ей сладкое. А потом приглашённый на консультацию профессор, взывая к здравому смыслу, зловеще подтвердил: «Если, конечно, вы не наметили скоропостижно сгореть».

Через несколько дней после приговора Таиса приняла решение. И вот уже покупала пирожные в маленькой полутёмной кондитерской. Выбрала разные, чтобы попробовать всё, что у них там есть. Расплатилась. Кругленький добродушный продавец бережно укладывал покупку в картонные коробочки. Пирожные были не воздушные, а плотненькие, слоёные, с миндалём и джемом. Их было десять – стремительная, сладкая смерть. В одной коробочке осталось место, продавец с улыбкой положил туда ещё одно, в подарок. Оно было похоже на небольшой сундучок, его аж распирало от крема, джема, глазури, толчёного арахиса. Таиса в нетерпении представила, как, вернувшись домой, сейчас же сварит кофе и вон то, квадратное, с шоколадной крошкой, попробует. А потом ещё одно. И ещё, чтобы умереть сразу. Она уже предчувствовала их вкус... И проснувшись в безбрежном, совершенно детском разочаровании. Так её смерть вновь отложились, отсрочилась на некоторое время.

Теперь оставалось только бежать, хлюпая по весенним лужам в забрызганных грязью ботинках. Спешить на урок французского, потом зубрить глаголы на всех пустых скамейках Бульварного кольца. Прикрывшись от ливня пакетом, спешить в библиотеку за необходимым сию же минуту рассказом Бунина, каким угодно рассказом, утешительно-грустным, где в финале – разлука и скорбь. От профессора она узнала, что запросто могла бы умереть в больнице. Всё шло к тому. Но не случилось. Сейчас этой самой минуты могло не быть вовсе. Таисе просто повезло. Такая вот случайность, почти чудо. За которое придётся расплачиваться всю жизнь строжайшим отказом от конфет и пирожных.

Но всё же у неё остались маленькие, дозволенные сладости каждого дня. Например, вот сладость: мгновение назад спеша, остановиться без причины, увидеть слепую старуху нищенку в серой пуховой шали. Пунктирно шаря палкой по ступеням, старуха шаркает навстречу стене, бормоча: «Подайте, бога ради». В первый миг сердце сожмётся, словно его выжимают в чай. И тут же пасмурный плаксивый мир озарится шкодливой догадкой: «Может быть, бабка репетирует свою коронную сцену из спектакля?» Жестоко, но, с другой стороны, ведь объяснение может оказаться каким угодно, успокаивала себя Таиса. Оказаться каким угодно. Настоящее объяснение всему вокруг.

Ещё одна её любимая сладость – по пути домой тщательно разделить предстоящий вечер на аккуратные порции: ужин, час французского, каток, Флобер в коричневом суконном переплёте. Но нет, обмануть все планы, изменить им легкомысленно и беспечно, выскочив

на случайной станции метро. И, напевая под нос французские песни, целый вечер бродить по городу, подслушивая разговоры случайных прохожих и придумывая о них дождливые чёрно-белые фильмы.

Еще одна сладость – чуть сгорбленной от мороза фигуркой притягивать к себе снег. Может быть, снег в такие дни шёл именно потому, что она тянула его к себе бескрайней, нерастраченной, ещё обезличенной своей нежностью. Ей иногда нравилось по пути на французский спешить мимо темных университетских корпусов, едва замечая освещенные окна.

И вдруг, остановившись, смахнуть с бампера машины воротник снега, который на пару секунд превращался в ладони в белую хризантему.

Ещё одна сладость – перед экзаменом по французскому читать Чехова. «Степь» и «Палату № 6». В коридоре возле экзаменационного кабинета тоскливо и тягостно. Каждый входящий туда на мгновение теряет дыхание, бочком крадётся к столу с билетами, чуть побледнев, выбирает свой. В напряжении предэкзаменационного коридора самое лучшее – изучать афишу театров на предстоящую неделю. А потом, когда всё позади, как же сладко избавляться от шпаргалок, выбрасывать в урну у театральной кассы целую пачку отработанных, ненужных бумажек, увитых мелкими кудряшками латинских букв.

Однажды вечером, в начале сентября, на всю квартиру трезвонил телефон. Таиса нежилась на ковре в гостиной, раскидав руки в стороны. На лице у неё лежал раскрытый посередине сборник рассказов Чехова. Старый, с пожелтевшими страницами, пахнущий библиотекой и ссохшимися пяденицами её подоконников. Всё вокруг на мгновение стало мертвенно-розовым и немного сизым, как в середине заката. Таиса почувствовала незнакомую сладость. Но телефон звонил безжалостно. Новая сладость была безвозвратно упущена. Алюминиевый мужской голос, каким обычно вещает навигатор, заявил, что она выиграла конкурс на вакансию переводчицы. Конкурс проводился летом в Москве и Санкт-Петербурге, в нём участвовало около пятидесяти человек. На следующий день состоялось собеседование, слишком напоминавшее любительский спектакль. Они с неким Борисом и его секретаршей были единственными посетителями просторного кафе на Ордынке. При первом беглом взгляде Борис показался затаившимся, непрозрачным, многослойным. Хотелось разгадать или хотя бы подробно, во всех узелках и зазубринах расшифровать его. Такая разгадка означала бы наступление мастерства. Со второго взгляда Таиса сочла его наряд довольно вычурным, почти карикатурным, а неторопливую манеру разговора и намеренно старомодную мимику – почти вульгарной. Пожалуй, было в нём нечто отталкивающее. Запашок несвежего, горчинка зарождающейся плесени. Уже через пять минут, во время неторопливой беседы с Борисом и его пожилой секретаршей, похожей на затянутую в твид тумбочку, Таиса зарделась и умолкла, перепутав артикли и переврав спряжения всех произнесённых вслух глаголов. Большого количества ошибок и выдумать было нельзя. Ещё ни разу её французский не был так безнадежен, как во время краткого, почти молниеносного собеседования. Секретарша-тумбочка насупленно ковыряла салат. Таиса обдумывала, как уместнее будет извиниться на прощание. Но её румянец, её назревающее отчаяние, кажется, забавляли непрозрачного и неуютного человека. Он улыбался и казался почти счастливым.

Секретарша поплелась в мастерскую, а Борису и Таисе было по пути, в сторону реки. Они почти бежали от ветра и переговаривались урывками, будто опасаясь, что их могут услышать. Неожиданно выяснилось, что восьмилетняя племянница Бориса погибла в автокатастрофе. 8 октября. В тот же день, в тот же час, когда Таиса поскользнулась на лестнице в библиотеке. Оступилась. Упала. Ушиблась затылком о ступеньку. Оказалась в больнице. Из-за сотрясения мозга забыла имена всех своих знакомых, потеряла телефон в коридоре. Но теперь неожиданное совпадение дня гибели девочки и падения в библиотеке, переменившего Таисину жизнь, удивили ее. Она затаилась. Она была ужалена в самое сердце.

Отработав первую неделю, Таиса поняла: надо придумать срочную поездку в Петербург, Воронеж или Таллин. И больше никогда не появляться в мастерской – так беспомощен оказался её французский. Но в пятницу, после самой долгой в её жизни недели, полной нелепостей, путаницы и стыда, у Таисы появилась догадка. «Постой-ка», – задумчиво бормотала она, замерев с кружкой остывающего чая у окна. Два года назад, после падения с лестницы, она вдруг полюбила кошек. Прониклась бескрайней слабостью к шифоновым платьям, заколкам с искусственными цветами, серёжкам с ягодками. После больницы сменила алую помаду на розовый блеск для губ. Перекрасила волосы в каштановый. Стала ненасытно и бессовестно спать по утрам. Срочно, поспешно заменила обои в спальне – на перламутровые, с блеском, как у новогоднего шара. Не могла решить, что уместнее: в субботу отправиться на прогулку в парк или всё же пойти в театр на «Чайку». Купить тот серый костюм или всё же платье из серо-розового шифона. И вот сейчас, собрав всё вместе, от неожиданной догадки Таиса замерла у окна. «Постой-ка», – бормотала она самой себе. Почему Борису вдруг понадобилась переводчица? Ради старых друзей из Лиона, ради какой-то старухи журналистки и двух призрачных галеристов... После падения с лестницы у неё такие красочные сны. Ей снится море, незнакомые приморские парки в цвету, пегие лошадки, миндальные пирожные, кружащие по комнате попугаи... Профессор признался, что она могла бы умереть под капельницей. Ей просто повезло – неведомая, нелепая случайность... Неужели с того самого дня её смерти в пустоте остывающего тела нашла приют душа маленькой девочки, погибшей в автокатастрофе в тот же день и час? Поначалу, у окна, наблюдая за осенним парком, над которым кубарем катался ветер и сгущались сумерки, Таиса растерялась. Допив остывший чай, поразмыслив ещё немного, она всё же решила понаблюдать, послушать и убедиться, что не ошиблась. Ради расследования и прояснения она сочла необходимым поработать у Бориса ещё немного. А за окном была уже ночь, и ей захотелось беспечно закружиться на ветру над верхушками кленов. Легко и непринуждённо, в шифоновом платье с пышной юбкой, в назревающем холоде осени.

В октябре они с Борисом целыми днями разъезжали по городу. Каждый вечер принимали гостей в особнячке на Малой Бронной. Или устраивали вечеринки в его мастерской – с разговорами, музыкой, вином и просмотром фотографий. Поговорить с Борисом с глазу на глаз ей за всё это время так и не удалось. В помещении, на улице, в машине присутствовало с десяток непоседливых и неуловимых стрекоз, каждую из которых нужно было поймать самодельным сачком. Задача не из лёгких. Примерно так давался Таисе перевод, особенно когда на французском без умолку болтали парижские студенты, художавый бельгийский искусствовед и лысоватый антиквар из Туниса.

Борис всегда был обходительным и отстранённым. Его забавляло смущение и отчаянье Таисы, путавшейся во французских глаголах. В неловкие моменты она перехватывала умилённый взгляд, чувствовала добродушную иронию над всем, что рассказывает, во что одевается, как движется. Иногда её приводил в замешательство и на несколько минут превращал в фарфоровую статуэтку брошенный вскользь небрежный вопрос о новом пальто цвета крем-брюле. О пальто, которое она купила на днях, повесила в гардероб до начала весны и о котором уж точно не мог знать ни один человек в мире.

Однажды Борис неожиданно и довольно резко упрекнул её в отсутствии интереса к его работам. Стремясь исправиться, Таиса при первой же возможности отправилась на его выставку. Со старательным вниманием вглядывалась в расплывчатые монохромные портреты. Обошла четыре просторных белых зала минут за двадцать. Но около последнего портрета она остановилась. И простояла, кажется, целую вечность. Пока охранник, подгонявший запоздалых посетителей к выходу сиплым «закрываемся», не заставил её очнуться. Это был

портрет той самой племянницы. Девочки с распущенными русыми волосами. С лампочкой в руке, как будто она держит хрупкий экзотический фрукт. Таиса так и не поняла, был это прижизненный портрет девочки или её *post mortem*. Таису холодила и тревожила неприятная двойственность и топкая сизая неопределённость портрета. Таису холодила и тревожила собственная двойственность и неопределённость после 8 октября, больницы, докторов. Она так разволновалась, что на следующий день заболела ангиной. А через пару дней Борис, скорее из вежливости, предложил погостить в его загородном доме. Бросил вскользь по телефону. Почему бы тебе не... И Таиса, тоже скорее из вежливости, согласилась.

Она прожила у него на даче всю зиму. А потом – всю весну, так ни разу и не надев новое пальто цвета крем-брюле. В начале лета в просторном, окутанном сизым сумраком доме появилась воздушная, совсем невесомая Лиля, сквозь которую всегда шёл снег. Когда Лиля стояла у окна столовой, Таиса замечала её крошечные мерцающие снежинки на фоне чёрного неба. А больше в этой Лиле не было ничего. Бесцветная пустота и чуть шелестящий колкий снегопад.

Ещё в его загородном доме призрачно обитала «Эта». По-кошачьи неторопливая и задумчивая, однажды потерявшая имя. Теперь от неё осталось только отсутствие и сиреневое молчание, будто нарисованное мелком на асфальте, за несколько минут до ливня. Со временем Таиса догадалась, что «Эта» уходит. Для успешной работы он нуждался в трёх девушках-призраках, в трёх музах-тенях своего загородного дома. Таиса долго старалась преодолеть ревность и горечь, разливающиеся внутри от подобных прозрений. Она была уверена и ждала, что со дня на день здесь появится ещё одна, новенькая, ломкая и странная, которой нечего терять и нечем себя увлечь за воротами его дачи. Ожидая со дня на день появления незнакомки, Таиса неторопливо жила в просторной мансарде второго этажа, по соседству с зимним садом. В комнатке с огромным окном было холодно, даже если вечером как следует истопить угловой камин, выложенный гжельскими изразцами.

Пребывание на даче совсем изнежило Таису. Теперь она вся была – только неспешность и сладость. Целыми днями читала французские романы из библиотеки Бориса, без особого усердия училась плести кружева по растрёпанной книжке 1901 года с такой ломкой пожелтелой бумагой, что листать страницы нужно было как можно медленнее.

Дважды в день обитатели загородного дома встречались внизу за чаем. Медленно и таинственно возникали, будто бы проступая из сумрака, на первом этаже. Размещались за большим овальным столом, устланным белоснежной скатертью с шахматными фигурами чашек, молочника и сахарницы из чёрного, белого и розового фарфора. Перенимая друг у друга лёгкую жеманность, склонялись над чашками, передавали по кругу масло и сыр. Борис, Лиля, Таиса, иногда – «Эта», потерявшая имя. Собравшись все вместе, они слаженно и проникновенно молчали, слушали граммофон, закипающий самовар или шум ливня. Иногда они часами беззвучно играли в переводного и подкидного. Лиля надевала шляпу. «Эта» вспыхивала или даже чуть всхлипывала. Таиса раздражалась, всё ещё слегка ревновала, стараясь не меняться в лице. Каждая девушка относилась к другой как к смутной и несущественной грёзе, вполне допустимому капризу. Каждая девушка по-своему смирилась, растворившись в прохладе молчаливого дома его муз.

Поздним вечером на клумбах белыми звёздами расцветал табак. Вдоль дорожек парка загорались фонари, всю ночь они медленно затухали, утрачивая собранный за день заряд солнечных батарей. Сад и дом тонули в сумраке, всё становилось необъяснимым, неожиданным и слегка тревожным. Иногда ночные звуки будто состязались, пугая тех, кто ревниво и трепетно ждёт. Поскрипывала лестница, чёрный ветер завывал в каминной трубе, мерцающий звёздами сквозняк свистел в щёлочки оконных рам. Тут и там раздавался не то сбивчивый стук в дверь, не то это ветви яблони, покачиваясь, колотили в чердачное оконце. Утром комнатка снова наполнялась холодным светом. Нежась в постели перед завтраком,

бледная, утомлённая Таиса с рассыпанными по подушке волосами всё чаще и чаще с каверзным недобрым интересом гадала, кто же окажется следующей гостьей. И что произойдёт с «Этой», потерявшей имя, когда новая девушка появится в доме.

– Махаон – парусник –

Потерявшая имя наблюдает сад и покачивается в кресле-качалке, шурша гравием. Позади, в доме, сквозь треск и песок что-то тоненько грассирует граммофонная певичка. В столовой Борис, Таиса и Лиля разбирают последнюю съёмку. На овальном столе – сотня фотографий, отпечатанных на больших матовых листах. Там серая муть луж, напудренные тела и чернильные контуры деревьев. Потерявшая имя покачивается в звенящем полуденном саду, угадывая спиной каждое их движение. Лилия пожимает плечами, потом наклоняет голову и замирает над фотографией, которую она вытащила наугад, двумя пальчиками. Таиса, раздумывая, какой вариант удачнее, крутит на указательном пальце перстенёк с топазом. И вот колокольчик – Борис размешивает сахар, подливает в чай молоко.

Перед ней не фотография, нет, а клумба с белыми сосульками табака. Старинные липы, каждой из которых сто с лишним лет, главные фигуры этого сада. Их раскидистые кроны разбойничьи ерошит июльский ветер. Между морщинистыми слоновьими стволами танцующие тоненькие вишни, несколько ворчливых старух антоновок, увитая плющом беседка, которую почему-то никто не любит. Оранжерею в этом году совсем забросили, там сейчас беспорядок, склад садовых инструментов и гнезда ласточек. Вдали, у ворот, как будто мерцает капустница. Иногда в сад со стороны речушки нечаянно вторгается рассеянная от жары стрекоза с синими крыльями. Потерявшая имя запрокидывает голову, там бело-голубые взбитые облака. И высота, высота, от которой становишься беспечной. Но не доброй, нет. И не такой, как раньше. Она чувствует позвоночником нахмуренные брови Бориса, который упер кулаки в клетчатый жилет и в задумчивости склонился над серией снимков. Чувствует лопаткой: вот Лилия пятится к окну, зажигает сигарету и на несколько мгновений становится обособленной, совсем непрозрачной. Чувствует спиной: Таиса, подетски возмущившись, гоняет влетевшую в столовую осу вафельным полотенцем. Она чувствует нежность к этому странному и не совсем доброму дому, увитому диким виноградом, ставни которого по ночам так тревожно скрипят и постукивают на ветру. В комнатах первого этажа повсюду раскиданы, запрятаны в тумбочки и секреты тысячи чёрно-белых фотографий, в комнатах второго – обманутые ожидания, сцены ветренности, ревности и воплотившихся грёз. Над клоунскими париками травы, люпинами и редкими ромашками лужайки под липами вьются пчёлы. Потерявшая имя знает наизусть этот сад, дом и характеры его обитателей. Два года, которые пролетели здесь будто неделя, она смотрела во все глаза, каждый день пыталась уяснить, зачем ей это неожиданное добровольное заточение. Она часто гадала: приключение это или всё же особенное испытание. Она старалась видеть, понимать и быть хоть немного добрее в своих разгадках. С каждым днем, утрачивая прежний цинизм и защитный панцирь насмешек, она становилась всё прозрачнее, как будто слегка истончалась. Но махаон всё равно ни разу не появился: ни над дорожкой из розового гравия, ни над клумбой табака, ни возле оранжереи, ни на лугу у реки, куда они иногда все вместе ездили купаться. Сегодня потерявшая имя, наконец, признала: со дня на день здесь появится незнакомка. Новая, молодая, странная девушка. Совсем беспечная, не подозревающая о своих скорых, неожиданных и необратимых превращениях. Боясь даже предположить, что тогда случится с ней самой, потерявшая имя откидывается в кресле-качалке, чувствует спиной, как в столовой они пьют чай с молоком и молчат над кружевной скатертью, кое-где закапанной вареньем и заваленной чёрно-белым листопадом фотографий.

И всё же вспоминается солнечным и одновременно туманным тот день, когда она впервые рассмеялась в этой просторной столовой и залила кофе своё любимое сиреневое платье. Поскорее промокнула салфеткой. Но было уже поздно, кофейный остров проступил, растёкся и накрепко впитался в ткань. Через круглый стол, такой лёгкий, что, казалось, того и гляди сорвётся и взлетит, она уловила внимательный взгляд Бориса. Колкие чёрные глаза – из-под жёстких кустистых бровей. Тишина и прохлада дома царственно поглощали дыхание двух замедленных девушек. В тот день потерявшая имя была уверена: эти хрупкие грации – его племянницы или сестры. Совсем юные девушки-мотыльки. На которых с лёгкостью можно было не обращать внимания, которых можно было с лёгким сердцем не брать в расчёт. Тем более если кое-кто с первого слова, с первого взгляда, ещё у калитки, закружил и оторвал тебя от земли: голосом, движениями, жилетом, к которому не хватало только часов с цепочкой. И тишина ширилась в сумраке столовой, в маленьких уютных комнатах прохладного дома. Лишь звон фарфоровой молочницы. Лишь едва уловимый треск опустившейся на блюдце, почти невесомой чашки. Белая гвардия – кофейник, сахарница, солонка. На опустевшем блюде оладий – тоненький голубой ободок. А потом откуда-то издалека послышалось предложение воздушной, прозрачной Риммы воспользоваться чем-нибудь из её гардероба.

Любимое сиреневое платье с островом так никогда и не отстиранного кофе наверняка и сейчас таится на втором этаже. Потерявшая имя могла бы отыскать его с завязанными глазами. По скрипучей визгливой лестнице, потом два раза свернуть в узком коридоре, на стенах которого – старинный гербарий в рамках. Вторая дверь от окна, бывшая комнатка Риммы. Напротив двери – трюмо и комод. В темноте комода, справа, где на створке тусклое топкое зеркало, – позвякивающий рядок медных вешалок. Потерявшая имя уверена: платье до сих пор ждёт её, окутанное лавандовой отдушкой от моли. Ей всегда казалось, что превращение в себя прежнюю возможно – из любого чудовища, из любой истории, из любой беды. Когда в доме появилась Лиля, прозрачная Римма неожиданно и бесследно пропала. Римма исчезла вечером, сразу после ужина, будто бы растворилась в сиреновом сумраке, пахнущем шиповником и бадьяном. Как будто этот странный и не совсем добрый дом проглотил за ненадобностью растратившую все силы Римму. И уничтожил все её следы. Она больше никогда не появлялась: ни в столовой, ни в библиотеке, ни в гостиной, ни в парке. О ней с тех пор никто никогда не вспоминал. Потерявшая имя давно поняла, что ей тоже придётся смириться – со всем, что уготовано девушке-призраку, его ослабевшей и истерпанной музе. Потерявшая имя знала: это произойдёт уже совсем скоро, со дня на день. Новая беспечная душа попадёт в свою добровольную и такую желанную западню. И тогда этот странный, не совсем добрый дом без следа проглотит лишнюю, истерпанную, её самую. С этим невозможно было смириться. К этому невозможно было подготовиться. И потерявшая имя с затаённым ужасом ждала, что же будет дальше.

Через неделю, сбитый с толку, сломленный этим грубым, бессовестным побегом, Борис слёг с аритмией. Лежал один в комнате, утопая в мягкой разгорячённой подушке. Ничего не делал, часами смотрел на чёрную листву яблони сквозь пыльный тюль огромного окна. Поначалу очень вежливо и даже жалобно просил не беспокоить, умолял не входить. Потом даже капризно, совсем незнакомо требовал тишины, будто расхворавшийся старик раздражался от любых звуков. И особенно срывался от любого шёпота, даже не сомневаясь, что они там в столовой обсуждают случившееся. Был день, когда совсем уж задумались о больнице. Но до больницы всё-таки не дошло, постепенно от сердца отлегло, почти отпустило. Но Борис всё равно исхудал, потемнел и редко теперь выходил из комнаты.

Она сорвалась рано утром, намеренно оставив повсюду следы разрушения, настоятельные доказательства поспешного, безоглядного бегства. Ей было тяжело, она как будто силой вырывала из земли все свои корни, безжалостно обрубив наиболее цепкие из них. Было невыносимо, было больно, ведь её место определённо и накрепко было именно здесь, на этой даче. Она бы и осталась здесь покорно, фатально, до самого последнего дня. Но она не вытерпела, была не в силах день за днём дожидаться развязки, которая так тревожила и пугала её. Она много думала, всё-таки решилась и убежала панически, поспешно, перевернув в гостиной светильник. С тех пор повсюду обнаруживались голубые фарфоровые черепки плафона, ранящие осколки её вольности. Она захватила с собой, а иными словами украла, пустую шляпную коробку, отлично зная, что шляпа всегда висит на вешалке, что Лиля так любит иногда надеть её и стоять у окна, разглядывая сквозь балкон деревья и цветы. Она стащила из библиотеки несколько старинных брошюр по вязанию кружев, никогда не собираясь их листать, тем более никогда не собираясь вязать по ним кружева. Она оставила в своей комнате оскорбительный беспорядок. Упавший набок стул, мятые салфетки на тумбочке, пустые жестянки из-под печений, брошенные в комод платья, мятый клубок осиротевшего белья, мусор из сумочки, высыпанный прямо на подоконник, разбросанные по полу чеки и патроны истраченных помад. Её побег нарушил тишину и сиреневый сумрак дома. О ней не молчали, о её бегстве говорили почти каждый день – за послеобеденным чаем, отвернувшись друг от друга, заглядывая в дверные проёмы, пряча глаза. Ко всему прочему, она как будто взломала ворота, что-то там повредила в проводке. Но совсем другое создало трещину в их устоявшемся размеренном мире. Её самовольное вторжение в неуловимую суть этого места, вот что было оскорбительным. Её способность решиться и осуществить задуманное – поспешно, безжалостно, с умышленной сценографией улик. Ей удалось нарушить устоявшиеся в этих стенах законы тайного равновесия, годами слагавшейся гармонии. Убегая, она всё же сумела качнуть этот устойчивый мир. С тех пор Борис почти каждый вечер запирался в своей комнате с бутылкой сливовицы. И слушал тихую музыку, которая струилась в распахнутое окно, в ночной встревоженный сад.

Вернувшись в тесную, пропахшую безжизненным пластиком и совсем чужую квартиру, Таиса бросила сумку в угол, ногой задвинула пустую шляпную коробку под шкаф, упала на диван и решила никогда не жалеть о том, что сбежала. Таиса была уверена: иногда ты обязан решиться. Как бы это ни было тяжело, как бы ты ни привык к своей жизни, иногда совершенно необходимо сорваться и спасти своим исчезновением, выручить своим намеренным бегством кого-то от большой грядущей беды. Таиса не сомневалась: в этом доброта, в этом заключается акция спасения, которые надо предпринимать хоть иногда, щедро или шаловливо, просто так, чтобы жить дальше. В тот вечер в пустой и бездушной квартире Таиса решила никогда не оборачиваться, не вспоминать и не жалеть те дни, когда она была томной, призрачной, всеильной музой. Она знала, что ей будет очень тяжело по-настоящему вернуться назад.

Прошло несколько месяцев после побега, а она всё ещё пугливо таилась, на всякий случай сбрасывала телефонные звонки. Хорошо, что совсем не осталось подруг из прежней жизни и не надо было никому ничего объяснять, подыскивая слова и упрощая случившееся для большего понимания.

Еще пару месяцев спустя Таиса решила, что справилась. Она снова подолгу бродила по чёрному после дождя асфальту вечернего города, хотя очень часто и чувствовала себя бледной, земной и безгранично усталой. Стараясь справиться с возвращением, со своим одиночеством, со своей неприкаянностью, она снова, как раньше, стала искать маленькие допустимые сладости каждого дня. Покупала серо-розовые платья, читала Чехова, ходила в театр.

Она снова занялась французским, на последние деньги накупила учебников, записалась на курсы и уже через месяц почти слилась, свыклась со своим самовольным и преступным возвращением.

Потом было восьмое сентября, жаркий и одновременно прохладный день бабьего лета. Полупустой полуденный поезд нёсся в центр, вёз от силы десятерых полусонных, рассеянных пассажиров. Таиса перечитывала задание к следующему уроку и от этого, как всегда, чувствовала себя цельной и почти счастливой. Потом она немного устала, оторвалась от учебника французского, подняла голову и увидела. Над схемой метрополитена, наискосок от чёрной резины сомкнутых дверей с надписью «не прислоняться», над темнотой мелькающего туннеля. Над схемой, над дверью, на стене вагона, прямо перед Таисой, распахнув жёлтые и бирюзовые крылья, сидел махаон. Притаившись, бабочка будто бы ехала из одного конца города в другой, совсем обычным своим маршрутом. Махаон, в поезде, который нёсся в центр шумного, многолюдного города. Махаон – парусник, светящийся жёлтым, искрящийся синим, красными фарами фальшивых глазков и чёрным бархатом каймы крыльев. Поначалу Таиса не могла в это поверить. Она остекленела от удивления. Потом она отмерла и на всякий случай всё же сделала две фотографии айфоном. Первая фотография-доказательство: *Papilio machaon*, древняя бабочка из семейства парусников, распахнув крылья, притаилась над чёрной дверью несущегося в центр московского поезда. Вторая фотография: *Papilio machaon*, махаон – парусник, тайный знак обретения утраченной доброты, доказательство того, что превращение назад возможно – из любого панциря, из любой истории, из любой беды.

Анна Аркатова «Я знаю пять имён девочек»

Алла

Моя соседка с первого этажа. Символ недостижимой буржуазной жизни среди югославских чашек, румынских кресел, тёмно-красных кастрюль и дезодорантов «Fa».

Алла была из породы еврейских холёных красавиц с мягкими губами и бархатной запрудой декольте. Про таких моя более поздняя знакомая скажет «смотришь, и смотреть хочется». На Алку действительно хотелось смотреть, и главное – хотелось жить как она – во всём новом с неотторванными бирками.

Правда, посреди Алкиной крохотной квартиры нерушимо сидела её необъятная мать-сердечница с сиреневыми, как у Мальвины, волосами и ругала Алку весь день с остановкой на сон. Алка на маму не реагировала, но этой волной незаметно снесло Алкиного мужа – не помню, как звали, и даже как выглядел, не помню – есть такие мужчины с едва обозначенными стрелками на брюках. Может быть, это на фоне породистой Алки все они терялись – но его преемников различить тоже было невозможно. Выступали они уже, конечно, не в роли мужей, а в сугубо противоположной роли, чем поддерживали незатухающий костёр мамашинного сидячего протеста. Я застала ещё Алкиного отца Семёна Львовича, красивого мужчину, занимавшего в пространстве места ровно в четыре раза меньше, чем его жена. Прав в этом доме он имел соответственно. Как-то при мне разыгралась драматическая сцена возвращения Сёмы из магазина. Сёма с поникшей головой стоял на кухне, где у окна за столом сидела Мальвина и орала в том смысле, что за мясо он принёс. Говно. Сёма не спорил, хотя понять, почему говно, было сложно. Перед Мальвиной лежала приличная замороженная лопатка кило на три. Вдруг наступила пауза. Видимо, Мальвина рассчитывала получить какие-то аргументы в пользу лопатки. Но Сёма, продолжая молчать, позволил себе неверный жест в сторону сигаретной пачки. Тогда Мальвина взяла мяско и швырнула его кирпичом в открытое окно. При мне Сёма прожил года два. Его лёгкое тело неслышно переместилось с первого этажа на еврейское кладбище Шмерли.

Алка работала в пункте приёма макулатуры, где за принятую на вес макулатуру выдавала бесценные талоны на собрания сочинений классиков и даже на импортные сапоги. Так что Алкино место в тогдашней иерархии трудно переоценить. Её дружбы искали все. Но это неправильная формулировка. Импульс поиска тут неуместен. Валентности вокруг таких женщин заполнялись без их участия и согласия, и даже как бы загодя, как воинские чины у потомственных дворян. Приблизиться к этому институту без обменного фонда было немыслимо. Я – исключение, я – соседка. У меня можно отсидеться, перекурить, иногда мне даже можно кое-что сбыть. В общем, не бесполезный гриб. Это незрелое предпринимательство более-менее компенсировало Алкин треснувший семейный сюжет, оболтуса-сына и невыветриваемую Мальвину в проходной комнате. Природа баланс выдерживает.

Питалась Алка мужчинами. Она ела их целиком, и они гибли у неё внутри. Но нам, юным и безграмотным, тогда это казалось неочевидным. Очевидным была не Алкина частная неразбериха и нарушенный метаболизм, а непреходящий Алкин успех. Рецепт его не был загадкой – на такую красоту дурак не слетится. Но иногда ротация зашкаливала, и мы настороженно следили за Алкиным настроением. Где сбой? Где? Какого чёрта она до сих пор с мамой? И только однажды Алка обронила своё выстраданное золотое правило, которое явно нарушала. «Никогда, – тихо сказала она, – не бери в рот на первом свидании. Никогда!»

Гита

Вообще-то она Лигита. Гита – это сокращённо и никак не индийское кино. Хотя вполне могло бы им стать.

Гита жила в моём доме и преподавала домоводство в школе, где я работала. Кабинеты у нас располагались напротив. Вот так мой русский язык, а вот так её домоводство.

После её уроков я уходила с банкой творожного крема или фасолевого салата, а то и половинкой штруделя. Это Гита умела. Ещё Гита умела выходить замуж. Тихо и наглядно. После этой фразы желательным было бы вам на Гиту посмотреть, потому что тогда бы вы вытащили тетради и ручки и принялись списывать слова. Ибо одно дело выглядеть как Алла, а другое... Короче говоря, ни запомнить Гиту, ни отличить её в толпе, если таковую вдруг представить на рижской улице, – невозможно, нет. У Гиты длинное, утяжелённое зубами лицо, длинные бесцветные волосы, длиннотелое тело и зачаточная мимика. Когда Гита говорила, подбородок её как бы выкатывался вперёд. Впрочем, говорила она предельно экономно. Поэтому неудивительно, что я не помню её голоса, я не помню, как Гита ходит, как она ест, как открывает дверь. Я помню, как она лежит на кровати, а разновозрастные члены Гитиной семьи занимаются вокруг полезным трудом. Включая годовалого младенца по имени Лина. Лина и мой сын – ровесники. Но мой сын в год сидел пупс пупсом с бутылкой жидкой каши или бессмысленно ползал взад-вперёд, в то время как дочка Гиты являла образец самостоятельного жизнеобеспечения. Я уже не удивлялась тому, что эта Лина ползком приталкивала табуретку, чтобы включить свет в туалете и бухнуться там на свой горшок, или тому, что она сама ложкой ест шоколадный сырок, выковыривая его из бумажной обёртки. Но когда ребёнок залез на кухонный стол и потянулся к подвесному шкафу, я всё-таки напряглась. Что она делает? Гита оторвалась от своего чая с единственной целью – ответить мне. «Таблетку ищет, у неё живот болит», – спокойно расшифровала она этот апогей дрессуры. Тогда я, кстати, впервые задумалась о продуктивности лени.

Гитину семью я застала в таком составе. Гита, Гитина бессловесная мама, Гитин муж, студент консерватории, и Лина. Был ещё отец Гиты, какой-то известный латышский кинематографист, но тот жил отдельно. В квартире у них было безукоризненно чисто и пустынно, как в протестантской церкви. Я не без удивления узнала, что муж у Гиты по счёту второй. Первым был хирург. Этот – музыкант. Иногда я видела, как музыкант возвращается домой. Через двор, пошатываясь, помахивая белой хризантемой. Лабал на похоронах, значит. Что-то в их отношениях даже со стороны было неравновесное. Такое, что я даже спросила Гиту – Лина-то его дочь? Имея в виду в анамнезе хирурга, разумеется. Гитин темперамент не понимал никаких ответов, кроме да и нет, но тут я услышала нечто античное.

– Пусть думает, что его, – произнесла Гита, далеко расставляя слова, с такой улыбкой, что я тут же почувствовала себя падчерицей у матушки-природы.

Примерно через полгода муж, тупо мнящий себя отцом, исчез, и его место занял Андрис. Скульптор. Та самая странная Алка – как сейчас помню, после очередного аборта – в связи с этим срочно вызвала меня к себе, чтобы хором задать богу справедливый вопрос: чем намазана Гита? Скажите, чем? Скульптор был могуч, бородат, хорош собой и обеспечен натуральным мрамором. Гита никак не праздновала перемены – она выходила из подъезда с тем же лицом, теми же волосами, в одной и той же юбке, той же утиной походкой, только слегка беременная. «Мне неудобно перед соседями», – шепнула как-то её мама мне на лестнице. (Знала бы она Алку!) Родилась ещё одна девочка. Уже определённо похожая на скульптора. Я зашла поздравить молодых родителей. Гита лежала под льняной простыней в льняной сорочке с домоткаными кружевами. Скульптор на кухне уверенными движениями взбивал пюре. Над колыбелью склонилась бабушка. Всё в порядке.

Однажды Гита пригласила меня с сыном на хутор. Хутор принадлежал её отцу-кинема-тографисту. Мне показалось, что там было не просто красиво, а этнически и художественно безупречно. В землю вросли витражные окна. Утром выпекался ржаной хлеб, а вечерами варился сыр с тмином. Мы проводили время у клетки с кроликами. Гита, как в фильмах, встретила нас на крыльце, поздоровалась и на следующие пять дней замолчала. Я решила, она на что-то обиделась. Оказывается, нет – просто составляла следующую фразу. Звучала она так: «Что им не нравится? Я самая честная женщина. Я никому не изменяю. Я всегда выхожу замуж».

Еще Гита очень хотела жить в старом доме, а не в хрущёвке, как все мы. Хрущёвку она ненавидела, если в случае Гиты применимы такие радикальные эмоции. Сначала Гита побелила свою квартиру вместе с мебелью и телевизором. Получилось эффектно. Потом выкинула все это и привезла с хутора древний буфет и полотняные занавески. В конце концов, она поменяла свою несчастную двушку на нечто в центре с ванной в кухне и туалетом на лестнице. Я пришла её поздравить с новосельем. Её дети как раз сидели в ванне и на глазах у гостей мыли друг друга. Очень удобно.

Потом я из Риги уехала. А в один из приездов встретила Гиту на улице с подростками. Гита сменила юбку-универсал на узкие джинсы, тусклые патлы на лёгкое подсвеченное каре – я слегка обалдела. И хотя по-прежнему ни духов, ни косметики – на меня смотрел вполне себе скандинавский стандарт дозированной привлекательности. Кстати, она как раз только что из Швеции – там у скульптора выставка. Ну, не порадоваться ли за девушку? Ну, не выпытать ли, наконец, секрет такого адресного счастья? Ах жалко, Алка уже в Америке! И тут Гита сама открыла рот и неожиданно одарила. «Если бы мне сразу сказали, что все так одинаково, я бы и с первым не разводилась». Ха! А то мы не знали!

А ещё через год я точно так же встретила её шикарного скульптора. Прямо посреди пешеходного перехода! Мы радостно обнялись. Он за плечи перевел меня через дорогу на мою сторону. Ну, что выставка? Девочки? Гита?

– А ты разве не знаешь? – удивился он. – Лигита (он звал её Лигита)... скончалась. – Он так и сказал торжественно – не «умерла», а «скончалась».

Я онемела.

– Встретила мужчину. Собралась замуж. Вдруг заболела чем-то странным – и так быстро... Вот. Я говорил ей: не надо уходить. Не надо уходить. Не надо уходить. Не надо уходить!

Он непрерывно повторял это высоко поверх моей головы и всё запуская огромную патыню в пружинистую, начинающую сидеть бороду.

Лида

Лида мне практически никто. Какая-то там четвероюродная сестра по папиной линии. Дальняя родственница, с которой мы видимся исключительно на семейных сборах у общей тетушки-патриарха, то есть два-три раза в год. Но поскольку на моей берёзе по части родни привит один-единственный родной брат – я как-то бережно держу в уме это скромное ответвление в виде Лиды. Лида живёт жизнью совершенно не похожей на мою, но это мне как раз нравится. Например, Лида никогда никуда не выезжает из Москвы. Никогда. Даже летом. Кроме дачи. И то не своей. И у неё даже желания такого нет что-то там изменить в оконной раме. И рама-то не бог весть, прямо скажем. Лида проживает с мамой, дочерью, маминой незамужней сестрой и ротвейлером Бэлой. Первого и последнего мужчину, Лидиногo мужа, с этой клумбы сдуло лет пятнадцать назад, и с тех пор в их трёхкомнатном монастыре воцарилась гендерная монохромность. Лида работает на каком-то производстве – всю жизнь на одном. Инженером. Или бухгалтером. Или менеджером – в зависимости от того, какой строй

на дворе обозначен. Лида работает даже по субботам. А три раза в неделю посещает спортзал, что позволило ей похудеть килограмм на пятнадцать и стать стройнее меня, а это уже кое-что.

Отец Лиды (его никто никогда не видел и не знал, включая Лиду, в семейной мифологии мелькнул как еврейский коммивояжер) оставил Лиде перспективу некрасивой, но пикантной француженки с условием, если забьёшь на булочки и потратишься на тренажёр. Это была именно что перспектива, ничего, как говорится, не предвещало, пока Лида действительно не обзавелась абонементом в недорогой фитнес-клуб. То есть вы понимаете – сила воли, реальные цели, жизнь – союзник, а не враг, – ну и подобная непосильная иным персонажам программа.

Лида справилась. И результат теперь налицо. В буквальном смысле. Я смотрю на это лицо не то чтобы с завистью – но да, с безмерным уважением и сложной неловкостью за свою матримониальную карусель, концептуальное безделье и водительские права. Слава богу, Лиде зависть как раз несвойственна. Подозреваю, что она мне даже сочувствует по некоторым пунктам. Вообще природа её аскезы для меня непостижима. Вот Лида не первый год проводит летний отпуск в пеших экскурсиях по Москве. То есть каждый день – новый поход. В одиночку. Ну то есть с группой таких же любознательных гражданок. Денег нет на поездки? Фобии? Перед пожилой мамой неудобно? Ну не может же столичная молодая женщина ваще ни разу не помышлять о пляже или там Париже? Или вот. Самозабвенно дружит с одноклассниками. Исключительно. Такая герметизация жизненного пространства по всем статьям. С чем это связано – не знаю, но так и тянет открыть форточку в этой лаборатории.

Мы с Лидой – как же, как же – пару раз навестили друг друга в удобное для обеих время. Взаимно обогатились кулинарными рецептами и советами по борьбе с древесным жучком. Договорились повторить – но, как это обычно бывает, не случилось. Только у тётушки. Зато со взаимной приязнью. Что-то, очевидно, нас влекло друг к другу, какая-то видовая принадлежность, как у круга и квадрата. Может, нас выталкивает наш семейный геронтологический кордебалет, а может... ну какие-никакие сёстры.

Я фотографии показываю из поездок – Лида вопросы задает. Интересуется. Есть, есть у меня малоумное ощущение, что скудость Лидиногo сценария вынужденная, что был бы шанс – ах, рванула бы Лида, хлопнув крышкой ноутбука, на Галапагосские, чо уж там, острова или – на худой конец – на Апеннинский ётить полуостров – ну не дрочить же на третье кольцо до пенсии?

Но манёвренность у Лиды так себе, денег всегда в обрез, рабочий день с девяти до семи, в воскресенье долбаный фитнес или родне помочь. А со Щёлковского шоссе поди выберись, если что. Хорошо еще, дочь выращена на примере практически трёх вегетарианских поколений – никуда не рвётся, в институте исправно учится, замуж не собирается, спит в одной комнате с бабушкой. И ладно.

Короче говоря, образовался у меня тут случайно лишний билет на лучший спектакль года в театр «Современник». Пьеса «Враги. История любви» по роману Бешевица Зингера. Евреи в послевоенной Америке с соответствующим бэкграундом, всё переплетено. Страсть! Чулпан Хаматова, всё такое. Кому, думаю, предложить? Кого осчастливить? И как-то по цепочке добралась искра моя до Лиды. Вот! Остальные как-нибудь попадут, сами с усами, а Лида ввек не доберётся до «Современника», режиссёра Арье и «Золотой Маски». Потому что ей не до суеты, занята она насущным, не позволяет себе того, сего лишнего, и есть у неё стержень, какого у нас нет.

И вот я звоню Лиде на работу её многотрудную. А это буквально, ну, может, второй раз в жизни, чтоб среди дня рабочего. А может, и первый – чтобы просто так, ни к какому родственному юбилею не привязка. И, задыхаясь от ниспосылаемой на сестру благодати, сообщаю о нечаянной радости.

Лида молчит секунд тридцать. Видимо, ушам своим не верит.

– А что за спектакль? – вдумчиво так спрашивает. Серьёзная девушка.

– Лучший, – говорю, – спектакль года «Золотой Маской» признан недавно. Игруют такие-то такие-то, Чулпан Хаматова, – как заклинание прям твержу.

– Круто, круто, – пробивает, наконец, на том конце мою Лиду. – Спасибо тебе большое!

А я думаю – Господи, ну зачти мне это ничтожное донорство! Не мужика повела с собой, не подружку дорогую, не коллегу, перед которой в долгу третий месяц, – Лиду! Дальнюю родственницу по папиной линии со Щёлковского шоссе. Зачёл, зачёл Господь-то, это очевидно, потому что сама я сижу счастливая и мысленно уже шампанское в буфете «Современника» для нас с Лидой заказываю.

Через час договорились перезвониться – и вот светится моя Лидия на мобильном экранчике. Я как раз перед шкафом-купе озадаченно притоптываю. Обдумываю наряд – эффектный, но не обидный для скромной спутницы. Вот эта блузка в самый раз. Если без каблучков.

– Ну, – говорю, – к половине седьмого успеешь?

– Нет, – говорит вдруг Лида невозможное, – не пойду, извини.

– Что такое?

– Я почитала в Интернете, там тема Холокоста (пауза) так вот это не для меня (пауза). Спасибо тебе (пауза).

– То есть? – Я просто делаю ласточку в одной колготке. В Интернете она почитала. – Лида, так только курсистки на rip up реагируют в моём представлении! Какой Холокост? Какая тема? Там про любовь несчастную на все времена! Чулпан Хаматова, Лида!

– Нет, прости, – жёстко так.

И дальше пошла себе работать. До семи ноль ноль.

Анжела

В жизни каждого человека должна быть Анжела. У меня была в четвёртом подъезде. Анжела закончила политех, но уже два года работала в торговле. Два, а не двадцать – поэтому вид у неё был ещё вполне интеллигентный. Вид и муж Гера, инженер, дежуривший ночами в пожарной охране. Ничего страшного. Просто базово семья эта не собиралась мириться со всеобщим равенством, ассортиментом соседней галантереи и меню кафе «Синяя птица» на Домской площади. Анжела и Гера – это буквально вызов системе. Они ходили обнявшись – он кудрявый блондин с полнозубой улыбкой, она – на американский манер подстриженная брюнетка. Вдвоем, в сцепке, так сказать, чтобы наверняка таранить силикатную тоску совка. Гера небрежно заворачивал по щиколотку штанины холщовых брюк, Анжела тонким пестиком колыхалась внутри трикотажного сарафана – расцветка «в мелкий шезлонг» – из чекового магазина. На подступах к своему замужеству я этот сарафан у Анжелы одолжила для решающей поездки на юг. Сарафан обеспечил успех. Я вышла замуж. В честь этого события Анжела оставила сарафан мне. Я десять лет носила его в сезон, а потом десять лет спала в нём как в ночной рубашке. Он ни на тон не поблёк, не утратил формы, не выпустил ни одной ниточки из шва. Сейчас на мне майка из его верхней части, нижнюю я собираюсь увековечить в стеклянной витрине.

Анжела с Герой, временно отдыхающим от пожаров, приглашали нас вечерами на мини-пиццу. Разрезалась вдоль трёхкопеечная булочка, слегка трамбовалась мякоть, и туда укладывалась начинка – ветчина, помидор, сыр. Все это запекалось в духовке и поедалось под цепеллиновскую «Whole Lotta Love», шуршащую в магнитофоне Sony из чекового же магазина. Я сказала «разрезалась»? Нет, на самом деле булочка разрезалась и фаршировалась на брудершафт в четыре руки, как и всё, что делалось в этой семье. Наевшись булочек,

мы переключались к нам. Где Анжелу с Герой ждал наш фирменный десерт под названием друг-грейпфрут. Грейпфрут в то время был единственным представленным широкой публике цитрусовым. Я лично, наподобие шимпанзе из популярного фильма, даже пекла с ним пирожки. Грейпфрут, в свою очередь, заранее разрезался мной поперёк, из него аккуратно вынималась внутренность. Дно образовавшейся плошки засыпалось сахаром и снова заполнялось грейпфрутом. Всё это пускало сок и становилось съедобным. Потому что просто так грейпфруты, как известно, можно есть только по медицинским показаниям. На магнитофоне «Маяк» шуршала бобина «Машины времени». «Пока не гаснет свет, пока горит свечаааа...» Все были в тот момент счастливы.

В иное время суток, то есть пока взаимная нежность Анжелы и Геры закономерно укреплялась малодоступными простым гражданам благами, я хоронила молодость на съёмной даче и рассматривала свой выбор как однозначное поражение. А как ещё это рассматривать? Анжела проводит лето в семейных байдарочных походах, а зиму на закарпатской лыжне. Справа от неё загорелый Гера – слева поспевающий сын в люминесцирующем комбинезоне. Надёжно укоренённая в бухгалтерии свекровь исправно поставляет демисезонную обувь. Книжек нет, но всё равно как-то веселее, чем у нас, получается.

Анжела нравилась мне тем, что была начисто лишена материального снобизма. Но не из великодушия, а из контекста. На сегодняшний день все её желания были более-менее удовлетворены или стояли в живой очереди на рассмотрение. Поэтому Анжела искренне радовалась сдвигу в чужом благосостоянии, просила немедленно ей продемонстрировать новый лифчик, или отвоёванный в жестокой очереди набор кастрюль, или польский плафон, а когда мы купили в рассрочку книжные стеллажи, Анжела пришла с бутылкой шампанского и со словами «Не по средствам, не по средствам», растягивая «а-а-а», ритуальным жестом смахнула первые пылинки с дешевого ДПС.

Короче говоря, несмотря на лёгкое промтоварное помешательство (а может, благодаря ему), Гера с Анжелой выглядели рекламой идеальной семьи, причём какой-то не совсем даже советской. Улыбчивый Гера пересекал наш двор то с теннисной ракеткой, то с брутальным походным рюкзаком, то на велосипеде. Анжела, даже в дикий мороз не носившая шапок, утыкалась замёрзшим личиком в плечо его невероятно ладной куртки, и на этом месте практически все стандарты гармонии в моём мозгу зашкаливали – было ясно, что тебя просто дразнят. Они разговаривали друг с другом вполголоса, никого не обсуждали, по очереди забирали ребёнка из детсада. Вроде ничего особенного – но было ощущение, что эти люди, твои в принципе одногодки, дрейфуют на какой-то параллельной платформе, запасном старте, о котором остальные ни бум-бум.

Как-то раз после очередного поедания фальшивой пиццы под настоящий «Gettin' Tigher» 1976 года Анжела задерживает меня в своём крошечном коридоре. Собственно, у нас с ней одинаковые коридоры – двоим в них разойтись нельзя. Они созданы для того, чтобы или целоваться врасос или, на худой конец, сообщать на ухо пароль.

– Можешь, – говорит Анжела, выбрав второе, – ключ завтра дать на час? С двух до трёх.

Я офигела. Не то чтобы второе моё имя было ханжа, но такого от стопроцентно счастливой Анжелы я не ожидала. Видимо, всё-таки моя модель счастья выглядела плосковатой по сравнению с чужой. А главное, в этом чёртовом коридоре невозможно даже повернуть головой, чтобы сказать «нет»!

– Могу, – говорю и тут же начинаю тормозить, – только у нас с диваном проблемы. Ты же видела. Книжки надо подкладывать.

– Книжки? Ты серьёзно?

– Абсолютно. – Мне вдруг стало очень неудобно перед Анжелой.

– То есть ты серьёзнодумаешь, что это проблема?

– Ну да, то есть нет, конечно, проблема не в книжках, – я не знала, как остановить поезд, – ещё вода. Вода может быть только холодная.

– А стёкла в окнах есть? Короче – можешь?

– Да, – капитулировала я.

– Значит, в два.

Гера за стеной мирно молот кофе. Ужас.

До полудня я так и не определилась, как к этому относиться. А главное, кто может сравниться с голливудским Герой? Только настоящий артист, или музыкант, или скульптор, как у Гиты. Впрочем, и так понятно, что такое полнокровная жизнь, нечего из себя строить учительницу младших классов.

Без десяти два, как и договаривались, Анжела позвонила в дверь – я уже стояла одетая. Анжела примчалась с работы – это был её обеденный перерыв. Она чмокнула меня в щёку ароматными по случаю губками и многозначительно зажмурилась. «Потом расскажу, – выдохнула она наконец, – ты меня поймёшь». Сбросила плащик и по-свойски пошла ставить чайник, нарочито гремя его крышкой. Я выложила на видное место стопкой «Бойню номер пять» Курта Воннегута, Ивлиева Во и первый том Гончарова, идеально, если что, заменяющих ножку дивана. Дико, просто дико неудобно.

Мне казалось, что, ничего не спрашивая, я выгляжу очень тактичной. Я так и спустилась со своего пятого этажа с запечатанным ртом, чтобы гулкий подъезд не дай бог не разнёс этот позор по бдительным отсекам.

У подъезда сидела обширная Алкина мама по прозвищу Мальвина и, раскачиваясь, доказывала какому-то лысеющему стручку с портфелем, судя по всему из жэка, необходимость ещё одной скамейки перед каждым подъездом. Перед каждым! Вы понимаете? А то все, буквально все сидят у нашего. Действительно, стручок всё порывался пристроить свой обвислый портфель на скамейку, но места не находил. По бокам от Мальвины на скамейке оставалось сантиметров по десять. Портфель оттягивал ему руку, и от этого одно плечо его казалось в два раза выше другого. Через пять минут он зажал портфель между ног, откопал в рукаве часы, развернул от солнца, чтоб не бликовали, и зашёл в мой подъезд. Было ровно два.

Катя

Катина жизненная программа до сих пор поражает этнической логикой. Первый муж Кати был еврей, второй араб, третий негр. Из этой тональной эскалации видно, как Катя бежала от банальности и рутины, как презирала стереотипы и как переживала даже гипотетическое присутствие обывателя в личном пространстве. Строго говоря, полноправным супругом был только первый, Даник, пятидесятилетний счастливый владелец лесопилки где-то под Крустпилсом, отец очаровательной Катиной Диной и ещё пяти дочерей от предыдущих жён. Юная Катя, выпускница Академии художеств, расписалась с ним в разгар токсикоза, не снимая плаща и никогда не романтизируя этих отношений. Она была искренне благодарна Данику за то, что он кормил всю семью фаршированными кабачками, солил грибы и закатывал помидоры. Ещё он уместно шутил. Чувство юмора для Кати было на первом месте.

Впоследствии, однако, выяснилось, что эта позиция не универсальна. Например, выбрать иностранца по этому признаку гораздо сложнее. Пришлось пересмотреть критерий. Доподлинно известно, например, что преемник Даника Сулейман хорошо готовил. То есть он готовил не просто хорошо. Он возил с собою плиту размером с маленькую кухню и чемодан специй. Так что, разведясь с весёлым Даником, Катя интуитивно вывела в фавориты другой мужской навык, способствующий выживанию вернее, чем остроумие.

Сулейман был изловлен в виртуальном заповеднике. Материализовавшись из Интернета, он переехал к Кате из Лондона с контейнером мебели. В контейнере была редкого

дерева кровать, ковёр ручной работы и ещё несколько предметов непонятного назначения – то ли книжку раскладывать, то ли позвоночник выпрямлять. Плюс плита. В Лондоне Сулейман преподавал. Он был буквально живым английским профессором. Вёл кружок юного террориста, как шутила Катя. И даже написал об этом книгу. Книгу он посвятил непосредственно Кате. В Риге с такой узкой специализацией было трудно найти работу. Собственно, поэтому он у Кати и осел. Соразмерная плите, в Сулеймановом контейнере перемещалась гигантская плазма. Царь-телевизор. Сулейман увлекался кино. Жизнь с ним была довольно экстравагантной, с бесконечными кинопросмотрами и застольями, которые традиционно проходили на ковре. Была одна неприятность. Религия не позволяла Сулейману пить. Поэтому на ковре между Катиными подружками и подушками стояло подозрительное множество чайников и кофейников, а невинный профессор, глядя на разомлевший гарем, свято верил в пьянящую силу кускуса.

Пардон, забыла, неприятностей было две. Был ещё Катин спаниель Жора, не прошедший теологической экспертизы. Он смертельно раздражал Сулеймана, очевидно, на уровне догматов. Сулейман мучился, запирали его втайне от Кати на балконе. Но плиту с плазмой хранить было совершенно негде, и он, приумножая смертные грехи, шёл на компромисс.

Сулейман мечтал жениться и продолжить род. Катя мечтала жить на хуторе. Это были параллельные мечты. Они не пересекались. В конце концов Катя нашла выход и, глядя в кофейные Сулеймановы глаза, предложила ему сочетаться шариатским браком. Сулейман прослезился. Мустафа, узбек с центрального рынка, в сквере за рыбным павильоном прочитал над ними что-то из Корана, из чего Кате становилось ясно, что жизнь её с этой минуты полна опасностей как никогда. На этот случай Катя уговорила Сулеймана купить в качестве свадебного подарка пару гектаров недалеко от русской границы, чтобы было куда ретироваться. На самом же деле Катя уже внутренне эмигрировала в сельское хозяйство. От травы, бездорожья и рукоумойника Катя тащилась, как иные от Лазурного берега. Сулейман ничего не имел против местной природы, но хутором откровенно тяготился. Главным образом он не понимал непосредственной связи природы с сухим туалетом. Поэтому в скором времени Катя задалась целью найти мужчину не просто как эффектный аксессуар, а понятливого настоящего единомышленника. Отъехавший на побывку в Лондон профессор даже не подозревал о таком цинизме. Закрыв за экзотическим мужем дверь, Катя вынесла царь-телевизор на балкон и без труда обновила аккаунты на надёжных сайтах. Почуввав неладное, Сулейман дистанционно вложил оставшиеся деньги в самостоятельный надел, читай ещё один хутор, одновременно продемонстрировав лояльность Катиному курсу. Но было поздно. Появился Бобби.

Бобби был родом из Мали, проживал в Стокгольме и еженедельно курсировал в Ригу на пароме. Постепенно Катина квартира наполнялась костылями и инвалидными креслами – Боб беззастенчиво приторговывал гуманитарной помощью. Спали они на ортопедической послеоперационной кровати с пультом в руках. Что само по себе казалось Кате гораздо более остроумным, чем какой-то там резной альков. Почему нет?

Естественно, Бобу тоже пришлось купить хутор, чтобы доказать Кате свою любовь. На этот раз вложение было искренним – в душе Бобби давно чувствовал себя крестьянином.

Вот они едут в латгальскую глубинку – заливная блондинка Катя за рулём и эбонитовый Бобби с серпом наперевес. Некоторые люди на джипах, знаю, специально прокладывали маршрут по проселочной, чтобы посмотреть, как в контражуре идёт за бледным плугом трудолюбивый сын Сахары.

Что говорили, а тем более думали о Кате эти люди, другие люди, включая родителей и друзей, – Кате было глубоко безразлично. Со временем все как-то свыклись. Расстояния между хуторами в Латвии приличные. Несколько гектаров. Но в вечерней тишине эхо может

запросто принести чей-то голос. Сидим мы как-то у костра – я, Катя, Бобби – жарим рыбу, а издалека от такого же, видно, костра слышно: «А у негров картошку сооодют...»

Елена Нестерина Динамо-машина

Подруга, которая сначала с тобой договаривается, а затем кидает, – это только половина подруги. Даже меньше. Это кусок подруги. Самый настоящий кусок.

Вот уже больше часа я сижу в квартире одного гражданина, пью вино. А этой подруги Светки, которая обещала присоединиться к нам чуть попозже, всё нет. Подруга-то она, конечно, пусть не самая близкая, но неплохая. Ну что это вот такое? Позвонила сегодня, предложила после работы встретиться в кафе возле её офиса. Сказала, что наконец-то купила мне витамины со скидкой, надо передать. Я прискакала, жду. Она звонит, говорит, что сейчас придёт, потом звонит и уточняет, что пакет должен передать её коллега, а когда коллега подсаживается и витамины эти передаёт, Светка опять звонит и интригуяще говорит, что на коллегу она хочет обратить внимание, а потому – не буду ли я против того, чтобы сопроводить её к нему в гости, поболтать в спокойной обстановке, понять, подходит ли он. Сам он мирный, квартиру снимает ему фирма, а потому всё рядом, Света быстро свернёт свои дела и тоже примчится. Безопасность гарантирована, а ради подруги я ведь готова на всё, верно?

Да, это было неожиданно, ну да ладно, на всё так на всё. Тем более что в пределах Бульварного кольца. Надеюсь, недолго. Ибо чего не сделаешь ради личной жизни ближнего своего.

И было всё хорошо, мы с этим коллегой хозяйственно смеялись, разгружая купленную еду, я слушала фармацевтические шутки. Стала звонить Светке – потому что ну где она, и тут мой телефон сказал «вяк» и разрядился. Хотя должен был, подлец, до вечера продержаться, двадцать пять процентов заряда – это ж четверть жизни. И ведь не первый раз уже он так делает, но каждый раз неожиданно.

Коллега покрутил у меня перед носом хвостом айфона и ничем помочь не смог. У меня-то не айфон.

Да, я сначала постеснялась попросить его перезвонить Светке. Может, у них в отношениях не принято по сто раз названивать. Подождём...

Но ждать я не умею – и всё-таки не выдерживаю:

– Давайте позвоним Светлане и узнаем, почему же она всё никак не идёт?

Потому что понимаю, что наши ожидательные разговоры иссякли, а этот молодой человек изрядного возраста постепенно подсаживается ко мне всё ближе и ближе.

Опа.

Светкин коллега хватает свой айфон, бодро набирает – и даже мне слышно, что абонент временно недоступен.

– В туннеле, наверное... – пожимает плечами коллега.

Туннель – это переход через дорогу, правда, длинный.

Ладно, позвоним ещё. Подождём, но скоро пойдём. Но то, что я заподозрила, мне уже явно не кажется. И даже возникла уверенность – а Светки-то и не будет! Развей мои сомнения, коза, отзовись. Скажи, что кавалер это твой, а не дружеская попытка устроить мою личную жизнь! Позвони мне, Света, позвони на коллегин номер, раз я недоступна. Позвони, швабра, дай о тебе думать хорошо, дай!

Но никто нам не звонит. Вместо этого коллега начинает расспрашивать о том, что я люблю и чем занимаюсь. Веселюсь и отвечаю то, что успеваю придумать, – люблю зефир (ах, не купили зефира...), участвую в реконструкции походов Александра Македонского, отвечаю за сегмент саков-массагетов. Вот так.

Светкин коллега не нашёл как отреагировать на полученную информацию, но не теряет надежды и времени – ставит диск с танцевальной музыкой, зовёт меня на танец. Сомнений нет. О, наивный соблазнитель. Так спляшем!

– Ты очень хорошо танцуешь! – зашептал кавалер и попытался страстно прижаться.

Он быстро перешёл на «ты», я специально не перешла. Но он даже не замечает. Романтик, видимо.

– Да, мы, реконстракт-гёрл, такие, – заявляю я, делая резкий выпад и отскакивая подальше. И ещё успеваю подумать, что в подобные моменты абсолютно все женщины танцуют хорошо. «Значит, это кому-нибудь нужно...»

Кавалер улыбается и тащит от стола ещё по бокалу вина. Подпиаивает, поросёнок. Жалко, конечно, напрасны его усилия – ведь он не знает того, что, когда я зла, меня берёт только водка. А сейчас я зла, ух, как зла! Ну, Светка! Если уж ей так хотелось пообщаться со мной, то мы давно бы сидели в любом кафе, пили, болтали – и никто, никто, кроме официантов, нас не беспокоил бы! Но вот так вот меня кинуть... Это не первая попытка меня с кем-нибудь познакомить – но сейчас просто лобовая атака какая-то! А вот я сиди теперь тут, прилагай усилия к тому, чтобы беспрепятственно смыться.

Стоп! А может, у Светки что-нибудь случилось? И поэтому она не пришла?

Усаживаюсь на диван, залпом выпиваю полный бокал вина, ставлю его на стол твёрдой рукой и говорю мужчине:

– Светланы до сих пор нет. С ней, наверно, что-то случилось. Позвоните ей ещё раз.

– Нет, нет, – уверенно говорит он, – с ней всё хорошо. Она уже, наверно, у себя дома.

– То есть как это – дома? – поднимаюсь я и делаю шаг вперёд. – Мы же её ждём тут.

Мы же втроём хотели посидеть.

Это должно было прозвучать. И чем раньше, тем лучше.

– Разве нам плохо вдвоём? – вкрадчиво говорит соискатель моей взаимности.

Не оригинал этот кавалер, нет, не оригинал. Ой, мне становится весело, ой, мои дремлющие молодые силы мобилизуются на битву! Да, дядя, ты попал.

– Как это – двоим? – удивляюсь я. – Нет, я одна такая.

– Одна? – слышит нужное ему слово Светкин коллега. – У тебя нет парня?

Слегка пожимаю плечами и совершаю отмашку рукой – типа фи, нету, да и очень надо. И чувствую, конечно, чувствую, что мой ухажёр сразу активизируется. Так, по какому варианту будут развиваться события дальше? Вариантов может быть несколько.

Почему я так хорошо в этом ориентируюсь? Почему просчитываю варианты? Да потому что я «динамщица» – в самом лучшем, просто артистическом смысле этого слова. Кто-то и правда реконструкторством занимается, кто-то занимается скрапбукингом – а я с удовольствием (пусть иногда и с некоторым риском для жизни) люблю «динамить» мужчин. Только это тайна. О том, что это у меня хобби такое, ни одна подруга и не догадывается. Они думают, что всё у меня так как-то криво складывается, молодые люди все вокруг не нравятся, отношения не клеятся. А на самом-то деле всё со мной в порядке – но только тогда, когда я этого захочу.

А теперь ладно, раз они со Светкой заранее обо всём договорились, я могу ни за кого не переживать, а смело «динамить» милого дяденьку и получать психологическое удовольствие. Кажется, это мне попался слабый тип, хоть на вид и ничего, крепкий.

– Ты необыкновенная девушка, ты мне сразу понравилась, – лепечет тип, оттесняя меня к дивану. Конечно, я понимаю, что сидя ему говорить гораздо удобнее.

Итак, он произносит речь, и речь примитивную, – значит, болтун, и не самый решительный. На миг мне даже становится скучно. Я понимаю, что борьба будет недолгой, а потому победа не такой славной.

– Я девушка странная, – выламываясь в сторону, томно говорю я. – Суровая.

– Да, да! – согласно ахает ухажёр и косится на мои военные штаны.

Военные штаны у меня отличные, зябну я в холодную погоду, отлично поддеваются под них толстые колготки с начёсом. А к ним, соответственно, и остальное всё подобрано. И так до мая.

– Да, со мной сложно. Мы, реконстракт-гёрл, все такие. Поэтому мне нужен особенный мужчина.

Нормальный мужчина (нормальный по моим меркам) сейчас бы уже смеялся. Или поддерживал игру. Этот же не смеётся, только смотрит на меня страстно и спрашивает:

– Какой?

Дальше мы говорим о мужских положительных качествах, и по тому, как я себя веду и что отвечаю, он догадывается, что все они у него есть. Но я, такая подходящая – любящая свободу в отношениях, ум, а не красоту в мужчинах, смотрю на часы, говорю, что уже десять, и собираюсь уходить. Кавалер меня не отпускает, упрасивает остаться. Говорю, что нет, пора, завтра с раннего утра у меня конный пробег – сако-массажетский марш-бросок на тридцать пять километров со стрельбой из лука по движущейся мишени, поэтому мне надо быть в форме. Грустно улыбаюсь, как будто уходить очень не хочу. Беру свою курточку, рюкзачок, который я сразу, как пришла, постаралась установить на обувной тумбочке как можно более устойчиво, тяну руку за тяжёлыми ботинками с высокой шнуровкой.

Дяденька чумает. Он бросается ко мне, хватая за руки, умоляет. Что умоляет-то? Остаться у него.

– Почему остаться-то надо? – спрашиваю. – Вспыхнула внезапная любовь?

Дядя слегка шокирован. Мямлит, мнётся. А что? Раз дяде было заявлено, что перед ним «особенная», то вот и пожалуйста – общайтесь! Если сумеете – по-особенному.

Я улыбаюсь, я же такая добрая.

– Но... – хватается он за меня. – Ты же говорила, что ты свободная... Что любишь свободу в отношениях.

Ой, дурачина! Назрел кардинальный вопрос.

– Конечно, люблю.

– Ну так...

– А у вас есть жена? – разбивая его будущую фразу, спрашиваю я.

– Да, – отвечает он, полагая, что на такую его моментальную честность я поведусь.

– И где она?

– Далеко. Там, дома, на Урале.

Я грущу, вздыхаю, просто чуть не плачу. Обуваю ботинок, протягиваю кавалеру ногу: «Завяжите». Завязывает шнурки, снова хватается обниматься. Быстро выставляю ногу вперёд и тяжёлым ботинком упираюсь ему в грудь.

– У... – закусывает он губу. – Только поэтому ты меня не хочешь?

Ай, люли...

– Нет, – низким голосом говорю я. – Не поэтому. Я же реконстракт-гёрл. Мне нужно после боя. У вас есть короткий меч?

– Но, но...

– Без боя точно не могу, адреналин-то за просто так не появится.

– О, это будет, будет!

– Не-е... Я люблю мучить мужчин.

Кавалер даже подпрыгнул.

– О, мучай меня, мучай! – возопил он, пытаясь прикинуться ко мне всем телом, но вжался только в рифлёную подошву моего ботинка.

Вот дурак. Нет уж, пусть жена тебя мучает.

Хитро улыбаюсь:

– Не хочу.

– Давай, давай!

– Не-а.

Вырываюсь из его рук, хватаю рюкзачок, моментально оказываюсь у входной двери. Да, проиграл ты, батенька. Броситься на меня ты не сможешь – темперамент не тот. Давай, выметаемся из квартиры.

В лифте герой-любовник требует поцелуй. На прощанье. На первом этаже замирает у двери и не даёт мне выйти. Отчаялся... Ускользает из его рук так удачно приглашённая девушка, ну что вот ты будешь делать? А самолюбивый, видать, дядька, не нравится ему проигрывать. Сейчас будет «силой вырывать поцелуй». Хотя бы о малюсенькой победе, но вспомнится ему сегодня. Фигушки. Не получится и этого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.